Изданіе „Пролеткульта“.

Алексѣй Гастев.

И. Дозоров.

Поэзія рабочаго удара.



ПЕТРОГРАД
1918.



Государственная Типографія № 1.

От Пролеткульта.

Великій момент, полный энтузіазма и творчества, переживаем мы.

Старые идолы, тяготѣвшіе над міром, рушатся и низвергаются в бездну. Старыя истины, управлявшія умом и волей под‘яремнаго человѣчества, теряют свой смысл и значеніе.

Новая жизнь идет... Свѣтлая, радостная, яркая...

Рабочій класс, борец за всемірное царство свободы, среди моря слез и крови, заливших землю, среди безсмысленных разрушеній матеріальных завоеваній умирающей культуры, в терзаніях и восторгах борьбы воздвигает зданіе новой культуры, пролетарской, долженствующей стать общечеловѣческой.

Старый строй чувств, настроеній и норм еще силен. Он крѣпко опутал нас с первых дней рожденія. Пролетаріату надо развернуть перед человѣчеством безконечныя перспективы гармоничнаго совершенствованія; ему надо пересмотрѣть движеніе человѣческой мысли и сдѣлать ее болѣе широкой и смѣлой, ему нужно создать свою мораль, свое искусство, чтобы освѣтить вселенную ярким свѣтом, гдѣ лучи индивидуальной мысли стараго міра потонут в сіяющей зарѣ соціальной жизни.

*

Эта работа идет.

,,Смотрите!—Я стою среди них: станков, молотов, вагранок и горн и среди сотни товарищей...

Выпираю плечами стропила...

Я еще задыхаюсь от этих нечеловѣческих усилій, а уже кричу:

"Слова, прошу, товарищи, слова!"

Чтобы эти слова, выросшія из желѣза, зажгли сердца и воплотились в дѣло, Пролеткульт взял на себя задачу собирать, об'единять пролетарское творчество и разносить его среди фабрик и заводов.

Работу эту начинаем мы, выпуская ,,Поэзію Рабочаго Удара" Алексѣя Гастева.

ВВЕДЕНІЕ.

Мы растем из желѣза.

Смотрите!—Я стою среди них: станков, молотов, вагранок и горн и среди сотни товарищей.

Вверху желѣзный кованый простор.

По сторонам идут балки и угольники.

Они поднимаются на десять сажен.

Загибаются справа и слѣва.

Соединяются стропилами в куполах и, как плечи великана, держат всю желѣзную постройку.

Они стремительны, они размашисты, они сильны.

Они требуют еще большей силы.

Гляжу на них и выпрямляюсь.

В жилы льется новая желѣзная кровь.

Я вырос еще.

У меня у самого вырастают стальныя плечи и безмѣрно сильныя руки. Я слился с желѣзом постройки.

Поднялся.

Выпираю плечами стропила, верхнія балки, крышу.

Ноги мои еще на землѣ, но голова выше зданія.

Я еще задыхаюсь от этих нечеловѣческих усилій, а уже кричу:

— „Слова прошу, товарищи, слова!"

Желѣзное эхо покрыло мои слова, вся постройка дрожит нетерпѣньем. А я поднялся еще выше, я уже наравнѣ с трубами.

И не разсказ, не рѣчь, а только одно, мое желѣзное, я прокричу:

„Побѣдим мы!"

Часть I.

Звоны.

Новое—било, мятежное звало, шумное, бурное дерзко будило.

До блесков пурпурных зари, до криков надсадных гудка поднялся.

Искал я и слушал, тревогу хотѣл разгадать, сердца хотѣл я понять перебои.

И вдруг ворвались через двери и окна убогой хибарки с гамом неслыханным, с шумом вбѣжали весеннiе новые звоны.

Все позабылось... Скорѣе на волю, бѣжать без оглядки и слушать весеннiе звоны.

Влагою свѣжей дышала земля; дождик живительный, первый весеннiй, ночью прошел. Грянул проливный, грянул обильный, землю обмыл и понѣжил.

Рѣзвыя глыбы громад облаков гнались в холодных и легких просторах небес.

Милою, теплою лаской-нежданной вставало весеннее солнце.

Высокò, высокò в заповѣдных глубинах расторгнулись двери наполненных звоном невидимых храмов, вырвались свѣта моря-океаны и падали книзу волной-вдохновеньем вѣстникам пира весенняго—птицам.

Съ звонами новыми, звонами вешними птицы неслись над равнинами, лѣсом, полями, долинами, всюду будили восторги весны, разливали призывы, пѣсни несли.

Земля довѣрялась их пѣсням. Вся—доброта, вся—любовь материнская, отдавала она запасенные соки, рядилась коврами, поила кусты и деревья.

Робко, как дѣтскіе глазки, раскрылись весенія почки. Вѣтер срывал фиміамы их, нес к городам.

Побѣжали опять, задыхаясь, весенніе звоны, кто-то шальной заходил вдоль по лѣсу, во всю загулял, лѣс как в хмѣлю закачался, запѣл, загудѣл.

На газовых мантіях-крыльях вырвалась мысль, понеслась из простывших за зиму низин, быстро взвивалась мечта, а за нею вставала силач-исполин— вдохновенная властная воля.

Говорить бы скорѣй, разсказать, все повѣдать, ринуться в море людское, призвать, слово новое дать, воскресить схороненные сердца порывы и к шуму и к звону людскому скорѣй, как к приливу весеннему гнаться.

Вдалекѣ от угара весны—черной скалой высился хмурый, весь сталью и камнем гудящій, весь безпокойный завод.

Чѣм же порадуешь? Вѣстью весенней какой подаришь, дом наш—жилище труда и неволи?

Холодом прошлаго, злым полумраком встрѣтили своды заводскіе море людское, шумящее звонами новыми.

Со скрипом лѣниво брались привода...

Завыли моторы тоскливою пѣсней...

И вспомнились звоны надрывные чьих-то рыданій, печали схороненной, жалоб несказанных. Жужжали моторы таежною вьюгой над кѣм-то далеким, заброшенным в глуби лѣсов нелюдимых.

Закружились валы, зашептали о чем-то зловѣще-тревожном и всхлипывал часто ремень на шкивах.

Молоты били и грохали в кузницах дальних, наполненных дымом... И звоны смертельные, звоны губящіе жизнь, в душу вонзались.

Колотили, стучали, скоблили, скрипѣли у ближних тисков...

И звоны ключей в корридорах тюремных как будто готовили узникам запертым—вѣсть безнадежную, новость послѣднюю...

Мчался по рельсам гулко, раскатисто кран. Спускались, ложились и снова бралися под'емныя цѣпи... И болью глубокой, болью знакомой в сердце входили, его разрывали—кандальные звоны...

Нехотя шли на заводѣ станки. Со скрежетом брали рѣзцы токарей, грызли со злобой металл фрезера, фыркали стружкой рѣзцы строгалей.

Не ладился нынче завод. Ломалися сверла, все драли рѣзцы и фрезеры с треском крошились.

Грѣлись трансмиссіи, выли подшипники, клепка не ладилась, молот валился, не брала пила.

Стоном послѣдним, звоном надрывным, усталым прошел по заводу разбитый тревожный гудок...

Запружены лѣстницы, хоры, подвалы народом.

Замер завод.

И с новыми звонами, вольными звонами, звонами бурными хлынули волны шумливаго люда рабочаго.

В воздушных просторах, в лѣсах, по холмам, по долинам играла все та же весна. С неба шли тѣ же весенніе звоны, но звали тревожными новыми пѣснями. По небу с молніей к нам подплывали грозовыя тучи и грянули громом раскатистым, бодрым, призывным—весенніе новые звоны.

Гудок-Сирена.

Замирала, затихала, холодѣла-застывала, опускалася Нева.

Это в час ночной сирена на глубинах залегала, думы злыя зарывала, закручинилась она.

А то берег жесткій била, разрывалась и бурлила, непогодой завывала, волны жадныя бросала, в небо пѣной злой кидала. Выла-мучилась Нева.

Это злой тоской и черной и неволей безысходной в омутах рѣчных терзалась, изгибалась, надрывалась, билась плѣнница сирена.

Но скатилась, в пыль разбилась, потерялася послѣдняя волна.

Быстрой рябью вдруг покрылась, посвѣтлѣла, встрепенулась, теплой лаской улыбнулась, оживилася Нева.

Это дерзкая сирена думы в норах схоронила, всѣ сомнѣнья утопила, из растаявшей волны к міру вольному глянула.

Рябь дрожащую угнала, шумы водные услала, взглядом тучи разогнала и из глаз, как разсыпанный алмаз, искры в небо в миг вонзила и в высотах насадила милліоны дивных звѣзд.

Распласталась, встрепенулась, тихо нѣжилась-тянулась и в нѣмую даль морскую, в даль - отчизну вдруг рванулась.

Торопливо оглянулась, горизонтам улыбнулась, к скалам бѣшено метнулась и огонь зажгла мятежный.

А в волнах морских пѣвучих засмѣялись отраженья маяков огней-титанов.

На волнах дремали чайки. Разбудили чаек нѣжных переливы огневые, разгадали что-то чайки, снялись с волн и полетѣли и с призывом—перезвоном потонули в далях чорных.

Зашалила, зарѣзвилась, как ребенок баловалась, в поцѣлуях волн купалась. А потом сама их била, била—била и разбила. И откинулась, помчалась прямо к зданіям фабричным, прямо к питерским заводам, великанам-корпусам.

— Ночь дрожала диким гулом, вырывался скорбный стон, а по окнам все бѣжали, безнадежно вниз махали тѣни черныя колес.

Иногда дремали шумы, забывался тихій звон и к Невѣ неслись напѣвы молодых тревожных снов.

Но срывался и кидался, бил и рушил-опускался раз'яренный молот-гром.

— Обрывались перепѣвы, разбивались пѣсни—сны.

И ковал-ковал царь молот цѣпь работникам-рабам...

Юной страстью запылала, буйным хмелем загоралась, в злом порывѣ задыхалась.

Мощной, дикой волей сжалась, на мгновенье притаилась, и отчаянным полетом к шпилю острому рванулась.

Надрывалися-хрипѣли, голоса машин ревѣли, к небу несся звон цѣпей.

Молот бил и рушил думу, разбивал-губил мечту.

Но впилась как звѣрь сирена, жадно пар машин пила, грудь горячую вздымала, билась пламенем мятежным, да как стоном зарычала, рѣзким кличем завизжала и гудком по черным зданьям, по заводам побѣжала.

Тѣни вмиг перемѣшались, вздохи, стоны унимались, уносилися рыданья.

Молот гикнул... Оборвался... А гудок все надрывался, и сирена по трубам, по небесным по волнам вольной пѣсней загуляла.

Пасть заводская раскрылась, тьма людей на зов рванулась, потухали всѣ огни, и печальным изумленьем, неразгаданным томленьем посмотрѣли корпуса в черный сбор людской гудящій, к звонам утренним манящій.

Гул надменный, гул побѣдный пробѣжал в людских колоннах и с сиреной прямо в небо, к предразсвѣтным звѣздам побѣжал в струях воздушных.

Полились и заискрились звѣзд разбуженных миганья.

А по нѣжным переливам, по небесным дивным нивам поплыла к Москвѣ-столицѣ опьяненная сирена.

Берегла призывный голос, потихоньку край будила, но ночным и страшным эхом поднялись призывы к небу, в высях жутких окунулись и упали, и забились в молодых сердцах мятежных.

В миг очнулись послѣ долгих, безпросвѣтных злых ночей бѣлокаменной преданья, бѣлокаменной сказанья.

Пробѣгали пробной трелью юных пѣсен запѣванья.

Но ударили отвѣтным хором дерзким, перезвонным долго спавшія колонны.

И на вышках на фабричных заиграли, забурлили зорей красных переливы.

Гул надменный, гул побѣдный пробѣжал в людских колоннах, и с сиреной к зорям свѣтлым, к красным утренним пожарам повились - взвились надежды милліонов вдохновенных.

Вся завыла, забурлила, кличем злым заголосила, нападенье-бой рѣшила, раскачалася Москва.

А сирена встрепенулась, за звѣздами улыбнулась и улыбка заблестѣла дивным сѣверным сіяньем.

То землею восхищалась и лучами огневыми с высоты вѣнчала землю.

А то с мыслью собиралась, брови сдвинула и стрѣлы из огня, из пламя-воли в выси синія вонзила.

Зашагали, заходили в небѣ свѣтлыя колонны: это новое рѣшила, это новое запѣла вдохновенная сирена.

На безкрайные просторы усмиренной, полоненной, обезкровленной страны с свѣтозарных звѣзд - высот смѣло ринулась сирена.

Ох, завыли, завизжали по россійским перекатам вдохновенные призывы, зазвучали как по струнам в диком верескѣ уральском.

Уходили, забирались в шахты черныя донскія, застонали по ущельям и металлом зазвонили по разсѣченным глубинам, забиралися на вышки, на каспійскіе фонтаны.

А с высот опять катились, в ширь и в даль вольнѣй просились, по странѣ неслись родимой звонов верхних переливы.

И без устали все рыщет, все плывет, по небу свищет, все пожаров новых ищет, все-то мір терзает бурным, все тревожит, бьет призывным ранним утренним гудком, жжет мятежным огоньком.

Но взойдут и разгорятся неба красные приливы, зори пѣснями займутся, дали золотом зальются.

Вверх к лазоревым холмам по бушующим волнам пролетит мятеж-сирена для послѣдних, для надсадных, для тревожных, безпощадных, пламенѣющих гудков!

Эти дни.

Эти дни все ходил я по залитой солнцем столицѣ.

Мнѣ хотѣлось найти дорогія слова, мнѣ хотѣлось смотрѣть дорогія мѣста, мнѣ хотѣлось услышать родные напѣвы.

— Пролетала игра шаловливой волны. И к рѣкѣ побѣжал я широкой. Думал блеском скорѣе огневым переливы поймать, переслушать и мечтѣ своей милой довѣрить прибой говорливой свободной волны.

Но гудѣла отчаянным горем толпа. На плотах, на челнах шевелились багры, окунались в волнах водолазы.

С мостовых перестроек сорвались лѣса и бригаду рабочих сожрала рѣка, схоронила в холодных глубинах.

Кто-то плакал, молился, с низов запѣвали прощальныя пѣсни...

Тихій плач разражался в рыданье, мольба разбивалась в безвѣрье.

...Поднималося по небу дивное солнце, но вставал и взвивался прокованный склепаный мост, закрывал от работников солнце.

А по мосту плавно, размѣренным шагом тянулись безпечныя пары; гуляли, катили на быстрых моторах тузы. Бинокли, лорнеты сверкали в руках, все гадали по рѣзвым, красивым волнам: чья пройдет, чья возьмет на сегодняшних скачках...

Я рванулся тогда в наш рабочій квартал, разсказать я хотѣл, что видал под мостом, на мосту.

Но раздался шальной оглушительный взрыв: прорвались, понеслись и вонзились в сосѣднія стройки

каменья. Дорогих и родных сыновей и отцов не узнать, их останков в могилу никак на собрать.

И как будто рабочій квартал цѣликом застонал, весь окутался дымом печали. Собралась, загудѣла, как гнѣвное море, толпа и к сверкавшим вдали золотым переливам дворцов закричала: за что?

А по городу дико неслись лихачи с сѣдоками к развратницѣ биржѣ.

„Паденіе цѣнностей!". „Взрыв на заводѣ!".—Ехидно кричали дѣльцы.

— Наши акціи в гору идут, ситуація твердая. Эй, покупайте!—задыхались в игрѣ конкуренты.

Ну, проклясть бы, пронзить тебя словом несказанным, жгучим, расплавленным, проданный золоту мір!

*

Старость.

Огнями яркими, игривыми был залит храм богини-биржи. Там короли-владѣльцы копей угольных справляли праздник Дивидендов.

Дрожали люстры золотом безчисленных огней. Колонны утопали в зелени тропических цвѣтов. Сверкали изумруды, брилліанты, ожерелья. Громы музыки рвались к тяжелым полнозвучным куполам и гимном рѣяли над праздничным весельем. Каскады, водопады, взрывы смѣха неслись к балконам откормленных тузов как сытая, довольная молитва богу-капиталу.

Лилось вино, шипѣли дорогія воды.

Поднапились...

И звон бокалов смѣнили тосты, блеск шлифованных рѣчей.

Ласкали рѣчи, нѣжили, баюкали мечту о новых шахтах, розсыпях, о новых дивидендах.

И опьяненный и вином и блеском будущих, неизмѣримых, золотых и неразрытых гор, встал президент и добрым голосом сказал:

„Гуманность все же наш девиз. Не забываем мы и о работниках, рабах усталых подземелья. Мы в этот свѣтлый день дадим им пенсію на старость, каждому, кто доживет, достигнет до шестидесяти лѣт".

Как громы грянули, взвились апплодисменты. Дрожала биржа, заревѣли купола, разбились окна. На вышках раздались салюты капиталу. От жалости, от доброты неизрѣченной задыхалась Биржа...

И вдруг из глубины земли, с подземных шахт на свѣтлыя высоты, на биржевые хоры, как черное видѣніе, как призрак поднялся шахтер.

Чуть-чуть как будто замигали люстры. Тревога пронеслась. И на минуту замер пышный пировавшій зал... Но президент нашелся.

— Ты—нам привѣт? Ты—благодарность. От трудового класса?..

— Да... захрипѣл шахтер, но оборвалась рѣчь.

Он только поглядѣл. Глаза смотрѣли давними, потухшими огнями. Тяжелым оловом налитые зрачки...

Из вдавленных орбит десятилѣтія, вѣка смотрѣли угнетенья на созданный цѣною поруганья, униженья мір.

Глаза сочились гноем, гной лился по копоти лица. Тряслися ноги. А сзади рос, давил и гнул, заковывал до смерти, приговаривал к могилѣ тяжелый, как руда земная, горб.

Шахтер искал опоры. Хватал костлявыми руками за перила, за клюку-подругу, но не сдержался, зашатался.

Послѣдним вздохом проклял мір, остывшим взглядом поискал дешевый гроб и грохнулся на изготовленное изголовье—заработанный за жизнь мѣшок угля.

В предсмертных судоргах простонал он: „мнѣ только сорок лѣт".

По знаку дирижера заиграл было оркестр, чтобы заглушить послѣдній стон, но оборвались струны и рыданіем взвились аккорды похоронные на хоры.

Чуть-чуть заколебались и понизились на биржѣ дивиденды...

Но президент опять нашелся: „Господа, к закону я вношу поправку. Я предлагаю пенсію им в пятьдесят пять лѣт"....

Тогда то задрожали гулом злым, подземным придавленные Биржей, черные, пронизанные пылью милліоны.

В подземных шахтах понеслись гудки, цѣпей разорванных поднялись звоны и с Биржи гордой и надменной сорвались, вниз покатились, вдребезги разбились игривые и беззаботные огни.

Осеннія тѣни.

Промчалось быстро для кого-то лѣто, полное мечты, игры, волнующих, волшебных снов.

Для нас, для забастовщиков, оно тянулось безконечно. Как призраки безкровные вставали и ложились дни.

Надежды были скованы безжалостной нуждой. Костлявый голод неустанно шлялся по пустым, полураспроданным жилищам. Лишь иногда он хоронился в туманах ѣдких опьяненной, с горя одурманенной, толпы.

Всѣ злились, стали желчные, переругались. Доходили до битья. Грозили смертью.

Я помню этот крестный ход наш на послѣднее собранье. Задушенные горем шли мы кончить забастовку.

В лѣсу сидѣли мы, как проданныя на убой, ненужныя, худыя клячи. Я помню налитые кровью и безумные глаза. Я помню, как без вѣры в жизнь, в грядущую побѣду там кинул кто-то черный и отчаянный призыв. Я помню, как товарищ зарыдал на полусловѣ. Я помню, вопль отчаянный пронесся в глубинѣ толпы; толпа тогда как будто что то свѣтлое, родное схоронила и замерла в ужасных ожиданьях.

На дальних, на лѣсных опушках зазвенѣли было переливы юных пѣсен, но скоро оборвались и забылись.

Пронзенные отравой жизни, поруганьем, пошли из лѣса молча мы к проклятому, бездушному заводу.

Но улыбнулся улыбкой жадной капитал: он нам локаут приготовил. С тѣх пор приговоренные к голодной

смерти всѣ ходят под дождем, по мутным лужам, осеннія, оброшенныя тѣни.

Лишь только свѣт, выходит милый Гриша, все распродавшій и раздавшій все за время забастовки. Он в тонком пиджакѣ, не высохшем еще и за ночь. Стучит зубами и с больной улыбкой захотѣл шутить со мной и говорит: „пойдем на-пару свататься к невѣстѣ-рѣчкѣ“.

А вот другая тѣнь. Бѣжит проклявшій мір: и капитал и труд, бѣжит Антон „Непьющій“. Сорвал с кого то, знать с студента, на двухсотку. Дрожащими руками он швырнул сидѣльцу деньги, и не пил, а... пожирал проклятую сивуху. А послѣ—цѣлый рой безсвязных, злых, ужасных слов, кому-то вверх грозящих взглядов и жарких и отравленных дыханій.

К полудню выползает на шоссе малютка-Шура. Ему как будто нѣт и четырех. А уж знакомо, Боже, как знакомо горе жизни. С серьезными глазами охает, идет и тащит, тащит через силу щепки от построек и домов заводских. Идет, качается и чуть не поскользнется и не рухнет он в канаву. А мать, иззябшая с семьей, в сырой квартирѣ, ждет и не дождется своего работничка-малютку.

Что дѣлалось в квартирѣ?—Оборванныя и больныя ходят дѣти. Один тихонько плачет, сердится на маму, другіе стонут. Во время забастовки родился еще ребенок. Три дня тому назад он захворал. Теперь безпомощно шевелит посинѣвшей ножкой и дѣтской грудкою хрипит в предсмертных завываньях...

Мать давит высохшую грудь. Нѣт слез. Нѣт зла. Нѣт никому проклятій. Одно желаніе, одна мечта: уйти бы, умереть скорѣе со своей семьей.

А гдѣ отец?

Приходит поздно ночью с поисков работы, усталый и голодный, валится он на пол. Не видит он малюток. Не слышит плача их. Ни слова, ни привѣта не пошлет женѣ. Не видит мутных глаз ея надсадных.

И только, утром до разсвѣта, перед поиском работ, идет он в корридор, запрячется и от людей и от жены и зарыдает там неслышным, уж надорванным рыданьем.

Как будто легче на минуту...

Вдали свѣтает.

Но корпуса заводскіе стоят жестокіе, смотрят безучастно на тѣни жалкія, осеннія брошенных людей.

А в городѣ шумят и в освѣщенных залах спорят с увлеченьем,—кто похудал, кто сколько потерял за лѣто жиру.

Придут другіе дни. Вы будете справлять ваш свѣтлый праздник. Вы запоете гимны вашему прогрессу.

Тогда то к освѣщенным алтарям, блестящим и шумливым, придут нарушить праздник ваш—осеннія, промокшія, изголодавшіяся наши тѣни.

В утренней смѣнѣ.

(Разсказ).

— „Мишка“!.

Миша посмотрѣл строго на Прокофьева, потом опять нагнулся и продолжал писать мѣлом на верстакѣ цифры.

— Михайло, тебѣ говорю!—закричал Прокофьев, удивленный новым поведеніем Миши.

Миша вынул из кармана бумажку и переписал на нее цифры с верстака.

Разозленный Прокофьев рванулся к Мишѣ, схватил его за плечо и, глядя прямо в глаза, заорал:

— Или уж ты мной командуй! Ежели свобода...

Миша вывернулся из под рук Прокофьева, взял тряпку, стер мѣл с верстака и, сдѣлав нос Прокофьеву, фыркнул и убѣжал.

И только издали он громко крикнул: „поговорим завтра, сегодня некогда: дѣла у нас“.

Это уже окончательно взорвало Прокофьева. С досады он бросил пилу на верстак, сложил руки на груди и, обращаясь к сосѣдям, кричал:

— Ну, ладно,—в кладову иду сам, за кипятком—сам, за инструментом—сам, за наждачной — сам... Будь он проклят завод. Развал кругом в этом ералашѣ.

— Так иди в комитет,—крикнул сосѣд фрезеровщик Прокофьеву:—разберут, рѣшат.

— Да тут хоть в распрокомитет,—не поможет. Бить их нельзя, разсчитать просить—жалко. Вот она свобода... Свобода с двух концов, брат.

Староста как нарочно пришел сегодня позднѣе: он наканунѣ взял пропуск для входа в завод не в час ночи, а в три утра.

— А—а, сознательные! Пер-р-редовые. Димакратія! Наше вам с ягодкой,—встрѣчал старосту Ванька Перцев, уже как-то успѣвшій нализаться.

— Чего вопишь, мокрая курица?—урезонивал его староста.—Своей рожей нас только перед администраціей подводишь. И так уж говорят, что у нас на одного трезваго десять пьяных.

— Г-м,—да. М-мы, конечное дѣло, р-р-революцію пущаем, р-р-рычаги движенія...

Ванька Перцев уже сгорал жаждой по скандалу и видимо „что-то знал".

Староста это почувствовал и думал было спросить Перцева, но поопасился связываться с пьяным и прошел.

Староста отталкивал публику своей постоянной серьезностью, говорил всегда сухо и дѣловито.

И теперь публика предпочла подойти к пьяному Перцеву, чтобы узнать, в чем дѣло.

— Да что? Надо на чистую говорить. Завсегда ежели чего коснется,—вот хоть бы теперича,—они сію минуту резолюцію: „принимая во вниманіе" там, али „с одной стороны, а потом с другой". А для дѣла—слабо. А наш брат...

— По цеху, или на штуку врешь?—перебил его шустрый сверловщик.

— Ну, да, выпивай—Перцев, а „ваш брат" как?—наступал бойкій монтер-слесарь.

— Да не галди. Не наваливайся на одного. Наш брат—он засучил рукава: не „принимая во вниманіе" и без „другой стороны", а пр-рямо—он размахнулся рукой—сверху... всенепремѣнно круче... кр-рой! И... баста. Понял?

— Да в чем дѣло то? Говори по настоящему, рыло-философ.

— А то, что подыматься надо, а у нас слабит...

Но публика не дослушала Перцева и хлынула к конторкѣ мастера, гдѣ начинался скандал.

Весь потный, чумазый, злой кузнец кричал:

— Не завод, а публичное заведеніе: пришел,—надо требованіе написать, а мальчишек днем с огнем не сыщешь.

Перцев растолкнул руками собравшуюся публику и подошел к кузнецу:

— Так, так... наматывай, а я за поддувалу.

— Да коева лѣшава—совсѣм от рук отбились.

— Господа, разойдитесь, пожалуйста,—заговорил прибѣжавшій и уже испуганный мастер.—Я сам человѣк сознательный, но...

— Дураков в мастера не берут,—буркнул Перцев.

— Распустили вы завод то окончательно: ни с кѣм ни сладу ни сговору... кричал кузнец.—Перестали говорить по-просту, все по книжному.

— Да я то тут причем?—спрашивал виновато мастер.—В утренней смѣнѣ я один. И что я сдѣлаю? Инженеров нѣт, на меня глядят, как на товарища,—не слушают. Всѣ мальчики заперлись в кипятильникѣ. Не полицію же призывать.

Мастер говорил это тоном отчаянія.

— Господин староста,—закричал он:—ну что же с ними дѣлать?

— А може они в сурьез?—спросил испытующе и посмѣиваясь на публику Перцев.

Подходил староста.

— Ну, что же, как?—вытягивал у него отвѣт мастер.

— Да что же: я не освѣдомлен. Это недопустимо—начинать дѣло без старост. Может, они просто шалят.

— Ах вы,—в два нуля вас стричь!—крикнул на старосту Перцев, плюнул и ушел.

Быстрым ходом, волнуясь и, видимо, скрывая важность нарастающих событій, прошли два мальчика.

— Дѣ-ло-вы-е,—скалили зубы пожилыя женщины.— Каково матерям-то от сорванцов.

Из окошка кладовой высунулся чернорабочій и закричал мальчикам:—Эй, вы—кавалеры, вы бы, манжетрясе надѣли. Оратели тоже.

Мальчики утирались рукавами, краснѣли, шморкали носами и уже бѣгом направлялись в кипятилку.

Староста шел слѣдом за мальчиками и хотѣл войти к ним, чтобы узнать, в чем дѣло.

Но дверь в кипятилку захлопнулась перед самым носом старосты.

А из кипятильника всѣ голоса кричали:

— Долой взрослых!

— Долой больших!

— Долой! Вы орали в свое время, теперь мы поорем.

— Я староста, по дѣлу, должен же я знать...

— Узнаешь. Все равно. У нас свой будет староста. Когда надо будет,—позовем.

Сконфуженный староста уходит.

А у дверей кипятилки уже терся Ванька Перцев.

— Ребятишки! мальчишки! Пусти,—вопил он.

— Кто там?

— Пропусти—хрипѣл Перцев—на секунду, по дѣлу.

— Да кто ты?

— Свои—значитъ...

— Долой, пьяная сосиска! Отваливай.

— Мальчишата, не озорничай,—не унимался Перцев. В сурьез: потому оставил у вас раскупореннаго... „товарища“. Душа горит. Не надо ругаться, ребята.

Мальчики зашумѣли, заспорили, но рѣшили впустить.

Перцев входил и ухмылялся.

— Парламент, значит... Дума... Пора и вам: в годах уже по нонѣшнему... Депутатов будет теперича все больше да больше...

— Да, замолчи. Собранье, чай,—прикрикнул на него один из мальчиков.

Гараська ободряюще командовал собранію.

— Выходи,—кто, который там, бери, пиши.

Выходил мальчик Степа:

— Мальчишки!—обратился он к собранію.

— Каки-таки мальчишки? Пріучайся,—перебил его Гараська.

— Господа! поправился Степа.

— Да не господа, опять одернул его Гараська: это у начальства так говорят, понимаешь: буржувазія... Товарищи!—произноси.

Степа пыжился, краснѣл, вспотѣл от волненія и произнес отдуваясь:—„Н-ну-к... товарищи, поэвтому...

— Да стой—вот уйдет сороковкин-то.

— Легче ты, Гараська—отозвался Перцев—смотри,—мнѣ со стороны виднѣе—угодишь под пятьдесят семь пунктов.

— Ну говори, продолжай: все равно, он без понятіев.

Перцева взорвало. Он почувствовал, что должен сказать им что-нибудь дѣльное и нужное.

— Ребята!—заорал он. Вот что: как начали, так и кончай. Скажу прямо,—бери стружку толще.

— Долой! Вышвыривай его.

— При, при, Степка. Линію ровняй,—не унимался Перцев.

— Да замолчи, трепло. Выкатывай. Поддай ему,—уже бунтовалась вся кипятилка.

— Ладно, ладно, я с Богом и сам уберусь. Схлопочи, ребята, больше. Бери с запросом. Сбавить потом не поздно будет...

Но Перцева уже выталкивали.

— Да стойте вы, молодая сволота, у меня вѣдь тоже в этом мѣстѣ нос, не прищеми—пятился он в дверях задом.

— Убирай, убирай свою сизую картошку,—весело гоготали из кипятилки.

— Ну, что, отвѣдал?—встрѣтила в мастерской публика Перцева.

— Брысь, проклятые! Адіеты вы.

— Гм... Или скипидарцем поднатерли?—травили его.

— Ничего, они вам покажут: дѣльце, брат, по лекалу пригоняют.

Перцев подошел к своему рабочему ящику и скинул засаленную синюю блузу.

Публика не унималась и начала его „разыгрывать". Хором запѣли:

„Перцев в путь собрался,
Но тут же нализался,
Об сморчок запнулся
И до утра свернулся.
— Барыня, не плошай,
Барыня не замай".

— Ар-р-рапы! Пискуны-стервятники,—орал он. Увидим, что запоете, свистуны.

Тихо, нехотя, как оплеванный под общій гул смѣха, побрел он от тисков и от машин, дошел до умывальной комнаты, хотѣл было одѣться, но не совладал с собой и заснул у порога.

А в это время к кипятилкѣ то и дѣло подходили рабочіе подслушать, что дѣлают малыши. Разсказывали, прибавляли, привирали.

Начало свѣтать.

Бѣлѣли окна. Завод нудно, тоскливо пѣл свои вѣчныя пѣсни, невеселыя, однотонныя, безотрадныя. Дремалось. Злость часто пробѣгала у людей на жизнь, осудившую их работать в мучительной, безотрадной дремотѣ. Злость переходила в тоску. В эти часы утренней смѣны как-то особенно желчным казался мір. За безпокойной думой незамѣтно обрывалась работа, опускалась пила, замирали как будто станки, и глаза работников, поймав ближайшую точку, терзали ее усталым, диким, не то плачущим, не то бичующим взглядом. Все больше одолѣвала дрема, подкашивались ноги, туловище вздрагивало и, немного очнувшись, работники скрежетали зубами, и вновь

начинали работу, лишь бы заглушить терзанія, подступавшія к груди, к горлу.

И вдруг из глубины завода вырвались, понеслись по притихшим мастерским, зазвенѣли шумы дѣтских бодрых криков. Заголосили, засмѣялись, забѣгали, радостно заговорили... А то присерьезятся, соберутся в кучху, призовут старосту, скажут два слова с дѣтским достоинством, с открытой, прямо в глазах написанной вѣрой в новую жизнь, первый раз постигаемую свѣтлым, как янтарь, дѣтским умом.

И еще, и еще сильнѣе несутся трели дѣтскаго говора, высоко-высоко за валами в сводах.

За шумом не слышно слов, легкая серебряная пѣсня льется вверху и рождает в душѣ новый легкій призыв, зажигает боевое безпокойство, рѣжет сердце острый укол вспыхнувшаго мятежа...

— И вот еще затребовать—читает Степа. Читает громко, почти кричит.

Прокофьев и тот краем уха слушает.

— А кромѣ того,—кричит уже усталый и вспотѣвшій Степа.

— За эту самую бастовку заплатить.

— И еще самое послѣднишнее, останное: никого из нас не арестовывать.

— Ах вы, дуй вас горой!—не вытерпѣл проходившій старик-токарь.

Степа в отвѣт щелкнул пальцем в воздухѣ.

Прочел и был таков. Понесся к мастеру. Мигом отдал ему бумажку с требованіем. Собрал всѣх своих товарищей. Нѣкоторые из них как будто еще стыдятся взрослых, другіе держатся вызывающе.

Маленькій Гараська предложил было „снять нахрапом весь завод для согласія“, но Степка отговорил: „Берем все на себя“. Начали одни,—и держись. Потому—примѣр“.

Гараська покраснѣл, почувствовал, что Степка как будто за этот вечер вырос; Гараська замолк.

— Конечно, конечно—заговорили кругом, а то еще который дунет, прибьет: мало ли ихняго брата темноты-то.

— Айда, ребята, на волю,—закричал что есть мочи Степа—за воротами расходись, не останавливайсь.

И, крикнув послѣднiй раз полутемному заводу: „у-у-у", поскакав, повертѣвшись кругом и нырнув между станков, давя друг друга и сшибая фуражки, они юркнули на волю.

Завод прiумолк.

Тихо-тихо, ровно-ровно гудят моторы и воют валы.

Осторожно, точно крадутся, шлепают ремни.

А утро разгорается. Взошла лѣтняя, бурлящая заря и глядит в громадныя заводскiя окна. В одном большом она входила тихо, кралась, раскрывалась вся, незатѣненная. Волны свѣта приходили сверху, дремали тихо на воротах, спускались нити нѣжной лаской, синим переливом, приходила новая волна и клокотали радужныя блески на матовых стеклах.

На другом окнѣ радостно бьется тѣнь дерева, качаемаго утренним вѣтром. Нельзя оторваться от окон. Переливы идут все сильнѣе, все выше, все бурнѣе бьет их игра.

На самом верху ворвались блески солнца. Перебросились нити быстрых прямых лучей, ударили по валам. На шкивах засiяли яркiя, ослѣпительныя точки. И нельзя смотрѣть на них и не хочется оторваться.

А внизу завод стал как будто темнѣе: зеленые и красные круги в глазах помутили его. Завод—сырой, грязный, неуютный, подвальный. Электричество, заливавшее ночью завод ярким свѣтом, кажется теперь слабым, ненужным. Как то недостойно спорит оно с утром. Ширк—и выключен свѣт. Свободнѣе.

Но тоска все больше колет, травит раны.

Заманила, задразнила жизнь, забило тревожно это утро своим бурным ранним зовом. Многiе облокотились локтями на верстаки и задумались, глядя на окна.

Всегда шумный, живой завод пугает сзади пустотой и кроет скукой.

Как видѣнье, как свѣтлый полет вспоминается бѣготня мальчиков и терзает сердце. Несется игра их голосов в воздухѣ и замирает вдали и царапает по душѣ укором..,

Голоса, шумы, перезвоны молодости,—гдѣ вы!

Пустота черная, сырая, чужая опускается на заводѣ.

Душно. Тяжело.

Как по сигналу, с остервѣненіем пооткрывали окна. Ворвалась утренняя освѣжающая сырость. Хочется пить ее, пить без конца.

Всѣ сгрудились у окон.

Двор еще спал, но сторож у калитки безпокойно ходил взад и вперед и изрѣдка с кѣм-то переговаривался через контрольное окно.

Вдруг он заволновался, отпер запор, отворил ворота и во двор въѣхали конные городовые.

Прокофьев сорвался с мѣста, собрал инструмент, запер ящик и, обращаясь к публикѣ, крикнул:

— Ну! Али еще ждать? Пошли, ребята!

Густая толпа, молчаливая, полная думы и тревоги, выходила из ворот.

Она несла в своей душѣ дивное біенье за розовую, милую, только что рожденную юность.

Иван Вавилов.

I.

Мы рѣшили сдаться.

Штрейкбрехеры совсѣм обнаглѣли. „Общество заводчиков“ рѣшило поддерживать хозяина до послѣдней возможности; почти вся передовая публика уже сидѣла или в предварилкѣ или в частях.

Трудно, нельзя передать словами эту боль сердца, с которой идешь в недавно еще брошенный, проклятый тысячью голосов завод. Как еще хорошо, что можно молчать и въ тишинѣ хоронить обиду, тоску.

К нашему удивленію, хозяин принял нас очень прилично: он не произнес ни одного слова насмѣшки, не позволил себѣ сдѣлать ни одного ѣдкаго замѣчанія.

Мастера тоже были сдержанны. Видимо, администрацію что-то тревожило.

Но штрейкбрехеры вели себя вызывающе: еще наканунѣ нашего выхода они всѣ вмѣстѣ напились в „Коммерческой гостиницѣ“ и так злорадствовали, что, думалось, это они и есть настоящіе хозяева завода.

Когда мы вошли в завод, то увидали, что их побѣда была закрѣплена. Почти всѣ получили прибавки и как раз столько, сколько мы требовали перед забастовкой; это была самая жгучая пощечина для нас. Часть чернорабочих переведена на станки, а из слесарей нѣсколько человѣк попали в старшіе, одного поставили подмастерьем.

Осенью, когда всѣ обнищали послѣ забастовки, обносились, ослабѣли,—нечего было и мечтать о новой забастовкѣ.

Надо было придумать скрытую, но вѣрную тактику борьбы с желтой публикой.

Так мы и начали дѣйствовать.

Но мастера замѣтили нашу компанію и постарались разсовать передовых товарищей по разным углам.

Началась разсыпная, едва уловимая, борьба во всѣх отдѣленіях завода. В этой борьбѣ было столько молчаливых приговоров, столько неслышных ударов, что разсказать о них прямо не хватит сил: вѣдь это сто ран и тысяча стонов.

Я разскажу только о моем пріятелѣ Иванѣ Вавиловѣ.

Его всѣ еще, вѣроятно, помнят, как он в 1910 и 1911 годах выступал на наших общих собраніях. Всегда вставал он в разгарѣ вязкаго, мучительнаго денежнаго спора и своей рѣчью бросался не на спорщиков, а к свѣтлому солнцу движенія, которое для него не заходило ни на минуту в самые черные дни. Спорящія стороны тогда моментально остывали и если загорались, то новым под'емным огнем. Живо терялись в толпѣ маленькія злорадныя кучки, все собраніе вырастало в стальныя стѣны наступленія. Вавилов говорил в жуткой тишинѣ этого стального роста и рѣчь его неслась над головами, как первая пѣсня прибоя.

Это с ним, с Вавиловым, в домѣ графини Паниной сцѣпился помощник пристава и пробовал запретить употребленіе слова „боевая организація", как мы называли свой союз. Вавилов послѣ этого замѣчанія сошел с трибуны, говоря: „Я не произнесу больше этих слов, но онѣ не умрут в душѣ, а вспыхнут в ней вѣчным пламенем". Собраніе поднялось и как цвѣтами забросало его аплодисментами. Вавилов тонул в бурѣ восторга.

Он в это время работал у Сан-Галли, но послѣ собранія его уволили; он перешел на Обуховскій, с Обуховскаго вылетѣл за первую же попытку открытой продажи журнала. Послѣ долгих мытарств он пристроился к Вулкану. Забастовка в инструментальной

мастерской разразилась через двѣ недѣли послѣ его поступленія; Вавилов был выброшен послѣ ея проигрыша. Мы напрягли всѣ силы, чтобы он поступил к нам. Всѣ его приняли как товарища, не знавшаго усталости в борьбѣ. Кто-то назвал его „неугомонным", эта кличка быстро облетѣла весь завод, и многіе даже забыли его настоящую фамилію.

Во время нашей стачки Вавилов не жил, а горѣл.

Во время массовых арестов жена Вавилова не видала мужа по недѣлям, и в то же время он не трусил, а всегда, если дѣло того требовало, стоял рядом с тѣм, кто его искал...

В числѣ руководителей нашей забастовки были люди колеблющіеся, часто хандрившіе, были и очень мягкіе, страдавшіе до слез, но стоило только появиться Вавилову, чтобы моментально спугнуть эту тину недовѣрія, и тогда даже наиболѣе слабые из нас чувствовали, как снова махала и била своими крыльями надежда.

Но вдруг в самый разгар забастовки Иван Вавилов сразу пал, надорвался, сдал. На нашем общем собраніи он заговорил мутящим штрейкбрехерским языком. С дальняго края собранія, гдѣ притаились друзья мастеров, понеслись крики одобренія.

Вавилов нас ошарашил. Мы всѣ подались от центра собранія в сторону и как бы спрашивали друг-друга: „Ну, а ты, ты тоже измѣнил?". Наконец, рѣзко, рѣшительно заговорил против Вавилова молодой товарищ Петров. Но только что он начал донимать своим жалящим языком Вавилова, как из кустов раздался страшный, пронзительный крик:

„Полиція!.. Хотят стрѣлять...

— Испуг был сильнѣе выстрѣлов: масса разсѣялась в одно мгновеніе.

Тут же для нас стало ясно, что крики были простой провокаціей, но было поздно, собрать публику было нельзя.

Через два дня послѣ этого собранія Вавилов работал на заводѣ. Сѣрая штрейкбрехерская публика, тогда еще робѣвшая и выжидавшая, бѣшено рванулась на завод своим предательским валом.

Теперь мы снова работаем на заводѣ.

Хотѣлось забыть про хозяина, про весь гнет, про торжество и радостныя пляски капитала. Думалось только об этой толпѣ срывателей нашей борьбы.

Мы молчали дни, молчали недѣли, но в этом молчаніи то и дѣло сверкали искры враждебных токов.

Вавилов уже недѣлю, как работает в нашем отдѣленіи, гдѣ стоят токарные станки. Он устанавливает нѣсколько новых машин, налаживает новыя приспособленія.

Я работал поодаль, в углу, так, что у меня с ним не могло быть столкновеній, к тому же мы с ним, старые друзья, стали уж прямо „на ножах". Но он затѣвал игру с токарем Павловым.

На третій день послѣ возобновленія работ Вавилов стремительно подбѣжал к Павлову и сунул ему руку. Павлов второпях пожал ее. Но когда хорошенько разглядѣл, что это был Вавилов,—плюнул и начал торжественно мыть руки.

Вавилов покраснѣл, что-то было заговорил, но смѣшался и замолчал.

На другой день Вавилов с утра заговорил с Павловым и хотѣл видимо об'ясниться на чистую.—Павлов отворотился в другую сторону, запѣл и отошел от станка.

Вавилов озвѣрѣл, плюнул на всѣх нас. Замкнулся.

Он уже не пытался заговаривать с нами. Но странное дѣло, его попытки говорить со своими друзьями, штрейкбрехерами, тоже кончились неудачей: „да" „нѣт", одно—два слова и все, что можно было с ним поговорить. Штрейкбрехеры злобно оживлялись только тогда, когда сталкивались с передовыми товарищами; когда же они оставались в своем обществѣ, то буквально только сопѣли под свой нос или же ковыряли в нем.

Молчать и молчать, вот что оставалось для Вавилова.

Время шло, дни лишеній тонули в прошлом, мы начинали улыбаться.

А молчаливый суд над Вавиловым тянулся, его одиночество становилось тюрьмой. И не предвидѣлось конца, перемирія, освобожденія от этой страшной одиночки, желѣзная рѣшетка росла и крѣпла все больше и больше между нами и Вавиловым.

Он замѣтно худал. По утрам иногда приходил он с красными глазами и слипшимися вѣками. Кто знает,— спал ли он по ночам.

— Товарищи, он мучается. С кѣм не бывает...

— Нѣт, эго предательство можно искупить только смертью.

— Брось, брось, опомнись. Все же он человѣк, он столько вынес.

Это спорили за нашими станками.

Вот тут-то и собака зарыта. Помирись мы с ним теперь, нас всѣх забросают грязью, будут говорить, что всѣ мы тут куплены хозяином.

— Но что же ему дѣлать?

— Пусть думает. Он умнѣе нас с тобой.

Недѣли через три мастеру заявил Павлов, что его станок окончательно расхлябался, и нужен немедленный ремонт. Мастер дал записку старшему по ремонту. И послѣ обѣда в тот же день Вавилов подошел к станку Павлова для ремонта.

Мастер предупредил Павлова, что если он не хочет гулять, то может отмѣчаться цехом, если будет помогать Вавилову. Вавилов слышал это об'ясненіе мастера.

Павлов прибѣжал в наш угол.

— Я сам заплачу любому подручному, только бы не нюхать Вавиловскаго запаху.

И Павлов гулял.

Вавилову дали мальчика Егора Симонова. На первых порах этот мальчик был долгожданным другом

Вавилова: он многаго еще не знал в жизни и был очень услужлив. Вавилов то и дѣло ласково покрикивал ему: „Ега, поднатяни чуть-чуть“. А то уж совсѣм по родительски: „Малый, малек, поотдохни“, „не надрывайся: жизнь еще наработаешься“. И Ега платил ему тѣм же: „не поднажать ли?“, спрашивал он Вавилова с милой дѣтской готовностью работать: „я привыкши к ремонту-то“.

Скоро, однако, Ега замѣтил наши отношенія к Вавилову. И вот однажды, смотря по-дѣтски серьезно, в упор Вавилову, мальчик сказал:

— А я что-то знаю.

— А что ты знаешь?—скрывая свое волненіе спросил Вавилов.

— Ты будто-бы не из наших... боязливо и нерѣшительно проговорил Егор.

— А из каких же, по твоему, шкетенок ты этакій?

Егорушка приподнялся, готовясь бѣжать.

— Ты, сказывают, хозяйскій...

— Рвань! - привскочил Вавилов.

Мы замѣтили эту неожиданную перестрѣлку.

Вавилов усиленно захлопотал около станка и, не глядя на Егора, скомандовал ему: „Иди в инструментальную, приготовь большой угольник“.

А Ега тѣм временем своими живыми глазками телеграфировал нашей публикѣ.

Он с‘ежился и, вмѣсто того, чтобы идти в инструментальную, нырнул в ближайшую лѣстницу.

Вавилов не смотрѣл на нас, но, видимо, чувствовал наши взгляды. Он брался за работу, но без угольника нечего было дѣлать. Ега пропал.

Нехотя поплелся он сам в инструментальную.

Как из земли вырос, снова появился около павловскаго станка Ега. Он быстро схватил ковшик с черным клеем, свѣсил с вавиловскаго инструментальнаго ящика пилы, ручники, ключи, отвертки и намазал их с нижней стороны клеем. А сам опять удрал.

Вавилов принес угольник, вытер лоб, надѣл очки и с замкнутой серьезностью принялся за работу.

Когда он начал раз за разом вваливаться руками в липкiй клей и поглядывать на нашу сторону,—замѣтили ли все это мы,— с нашей стороны понесся неистовый молодой хохот, захлопали в ладоши, а от женщин по направленiю к Вавилову полетѣли грязныя тряпки.

Вавилов поднялся от станка, собрал весь инструмент, опять безпощадно весь измазавшись, и ушел к конторѣ.

У конторы как раз собрались нѣсколько от'явленных штрейкбрехеров.

Вавилов шел к ним быстро, они всѣ вытянулись в ожиданiи своего вождя. Между ними начался разговор, сначала ровный, потом он перешел в спор. Вавилов к чему то призывал их.

Они посмотрѣли на него растерянно. Вот он остановился перед ними в вызывающей позѣ. Онѣ потупились. Вавилов плюнул в их сторону и рѣшительно направился в контору мастера.

По нашей мастерской пробѣжал холодок тревоги. У всѣх было предположенiе, что Вавилов звал их на самый энергичный отпор, а они трусили. И тогда, очевидно, Вавилов рѣшил дѣйствовать на свой риск и страх.

Вавилов никогда не любил шутить: он одинаково рѣшителен,—в добрѣ ли, в злѣ ли.

Понятно, что мы рѣшили подготовится ко всему.

Весь обѣд мы только и говорили, что о Вавиловѣ и его компанiи.

Уже перед самым гудком прибѣжал Егорушка и сообщил, что у одного нашего слесаря облито керосином пальто. Ясно, что это дѣло рук штрейкбрехеров, они переходят в наступленiе.

— Товарищи, все же нам надо пока попридержаться,— испуганно заговорил слесарь Вагранов.

— Не попробовать ли заявить директору?

— Для начала, пожалуй, переговорить с инженером.

Не успѣли мы перекинуться еще парой слов об этом, как сообщили, что Павлову пишут разсчет.

Струны натянулись.

Когда прогудѣл послѣобѣденный гудок, мы всѣ стояли на своих мѣстах, но никто и не думал приниматься за работу: руки нѣмѣли от тревожных ожиданій.

Вавилова не было.

Штрейкбрехеры собирались кучками, гудѣли, спорили. В контору был вызван один из них. Послѣ краткаго разговора мастер начал на чем-то настаивать перед директором.

Полдня шло медленно.

В полупритихшем заводѣ росло событіе, назвать которое никто еще не рѣшался.

Вечером было нѣсколько заводских собраній.

II.

Утром работа начиналась у нас в восемь часов. Завод наш был передовой. Это выражалось в мелочах. Напримѣр, никто из нас, кромѣ штрейкбрехеров, не любил приходить на завод за час или за полтора и там дремать или балакать. Вся громада с едва уловимой быстротой проходила в завод за пять минут до гудка.

Но сегодня исключеніе. Многіе в половинѣ восьмого уже были на заводѣ; всѣ хотѣли поскорѣе узнать, что происходило ночью, что готовилось. По дорогѣ то и дѣло перекликались, останавливались, перебѣгали от одного к другому. И, как всегда-нѣкоторые не знали, ровно ничего, другіе,—слишком много.

Вагранов, еще не выйдя из переулка на проспект, закричал:

— Эй, ты, как тебя?—Ванятка..

— Ты что, сдрефил?—я с роду Егор.

— Ну, Егорушка... Не видал?

— Не то что видал, а любовался.

— Ну, что он?

— В дымину.

— Ванька Вавилов напившись?

— Да как...

— В компаніи, или один?

— Вдвоем—со штофом...

Ваграков замигал, молча разсуждая сам с собой.

— А про Павлова знаешь,—спросил Егорушка совсѣм серьезно с чуть скрываемым презрѣніем к Ваграну за его ротозѣйство.

— Ну-ну.

— Вчера к мастеру пришел; гыт, я не ручаюсь за себя.

Ваграков с'ежился и схватился за голову, ужасаясь несущихся событій.

— Да, я, гыт, не ручаюсь; или Вавилов или я в завод, а то—гыт, вилами по Вавилѣ...

— А мастер?

— А мастер мягко обошел, гыт я вас не тѣсню, а и Вавилова обижать не хочу.—Павлов, не говоря хороших слов,—„пиши разсчет"...

— Дѣла... Надо столковаться, заговорил Ваграков с Егорушкой, позабыв, что тот совсѣм мальчик.

— Егорка, ухарь!.. окликнули в сторонѣ.

— Чего, смиренный?..

— Твой начальник-то нацарапал сегодня в газетѣ.

— Насчет клею?

Образовалась кучка. В газетѣ было напечатано:

„Во время стачки у меня подошли такія скверныя обстоятельства, что и разсказать о них невозможно. Они меня вынудили на позорный шаг и я вмѣстѣ с другими сломал стачку. Я теперь раскаиваюсь в этом поступкѣ и прошу товарищей вновь принять меня в свою среду".

Читали всюду; у ворот, по дорогѣ, на дворѣ.

Трудно сказать, сложилось ли у кого либо из товарищей мнѣніе по поводу этого выступленія Вавилова: рождались намѣренія, догадки, но не болѣе этого.

Всѣ спѣшили на завод.

В нашем отдѣленіи было больше народу, чѣм в других. Шумѣли.

Крик слышался и от штрейкбрехеров. Особенно среди них выдѣлялся один злорадный голос:

— Опять сойдутся: люди свои.

Вавилова еще не было.

Но на ящикѣ уже лежала газета с его замѣткой.

Мы подошли. Внизу замѣтки карандашем было написано:

„Шалишь — мамонишь,

На грѣх наводишь"...

Блеск глаз Егорушки сразу выдавал автора.

— Все-таки надо посерьезнѣе разобраться, начал Вагранов.

— А по моему, что написано, это — самое серьезное, — отвѣтил ему Петров.

— Да:.. А по моему, так вы его просто травите. Человѣк покаялся, унизился, — так мало.

— Во время забастовки шестеро каялись, а потом опять пошли на завод.

— Да развѣ с Вавиловым можно равнять?

— Вот именно, я не равняю. Стало-быть, писулькой не отдѣлаешься.

Вагранова уже взорвало.

— Я спрашиваю: есть у вас душа?

Загудѣл гудок, оборвался разговор.

Пришел Вавилов. Он прочел надпись, скомкал газету и начал работать.

Губы его дрожали, но он хотѣл казаться невозмутимым.

Послушать бы наши души в то время... Страданіе человѣка дѣйствовало на нас. Но протянуть ему руку

было страшно. Послѣ минутнаго раздумья всѣми нами овладѣла стихійная безпощадная месть к этому человѣку, который так донял нас во время стачки. Кажется, вот-вот подходит к горлу рыданіе за него, за бывшаго друга, преданнаго товарища, не утерпишь и обратишься к сосѣду: да не довольно ли, наконец? Но вдруг у кого либо прорвется крик возмущенія предательством, и он снимет, побѣдит все: и состраданіе и участіе и душевныя муки—все, все.

Вдали показался мастер с новым токарем Назаровым, принятым на мѣсто Павлова. Назаров был свой.

Назаров знал о Вавиловѣ.

Вавилов подошел к станку и, не здороваясь с Назаровым, поджимал послѣдніе болты. Он отошел с таким видом, что можно было понять: станок готов.

Назаров начал работать.

— Господин Вавилов... крикнул вошедшій фрезеровщик.

— Да?—взволнованно спросил Вавилов.

— Вот ваши пятьдесят копѣек.

— Это откуда?

— А вы подписывали на бастующих эриксоновцев.

— Так что же?

— Постановили от Вас не брать...

Это было сказано просто, коротко и дѣловито, как на судѣ.

У Вавилова тряслись руки, в которых он сжимал свои пятьдесят копѣек.

С минуту на минуту он ждал новых ударов. Инструмент валился из рук.

Куда бы уйти, думал он, и побыть в полном одиночествѣ и молчаніи хоть полчаса. Только бы не здѣсь, под постоянными выстрѣлами насмѣшек, обид. В отхожее мѣсто? Но там уже, вѣроятно, появились на стѣнах ѣдкія надписи, а кто-нибудь из молодежи состряпал и читает новые стихи про него.

Он взял первый попавшійся чертеж, положил его на ящик и, облокотясь на него, дѣлал вид, что разсматривает, а сам весь ушел в свою тоску, черную думу, весь застыл в своем ужасѣ одиночества.

Назаров суетился около станка. Он пробовал пустить его подбирал рѣзцы, прикидывал разстояніе между центрами, и все это дѣлалось с беззаботной развязностью недавно вышедшаго из ученья токаря, которому хочется пустить пыль в глаза новым товарищам.

Вавилов сгорбился над чертежем.

Мало по малу глаза его отрывались от точек и линій и он застывшим взглядом смотрѣл поверх очков по направленію к Назарову. Казалось, что он не замѣчал ни Назарова, ни Ваганова, ни Петрова, ни меня, не замѣчал завода, машины выросли в его глазах в черные признаки, люди убѣжали в чуждую даль.

И вдруг перед глазами мелькнуло отчаянно скосившееся лицо, выступили глаза, искавшіе помощи и загорѣлись смертельным испугом.

Это Назаров, неловко поддѣвшій на кран якорь для обточки, поправлял скользившую веревку. Минута, секунда... и якорь грохнется и ударит прямо на Назарова. Вавилов сорвался с мѣста и протянул руку, чтобы немного отнести веревку к серединѣ.

— Прочь!.. сука хозяйская...—кричал Назаров, испугавшись помощи Вавилова.

Веревка соскользнула, якорь перекувыркнулся и смял Назарова.

Назаров бился в судорогах.

Со всѣх концов бѣжали товарищи.

Вавилов поблѣднѣл и грохнулся на плашкетный пол. Он замер.

Завод остановился.

Два полумертвых тѣла понесли на воздух.

III.

Назаров пролежал в больницѣ полгода; потом его повезли в деревню и он умер там медленной мучительной смертью.

Вавилов тоже был в больницѣ, но через три недѣли выписался.

На завод явился только за разсчетом, да и то во время обѣда.

В теченіе года о нем никто из наших не слыхал.

Но вы помните, что в наших газетах мѣсяца два тому назад было напечатано такое сообщеніе:

„Забастовка на заводѣ Фридмана за Московской заставой кончилась. Требованія рабочих удовлетворены почти полностью. Эта—первая выигранная забастовка за все лѣто. Всѣ арестованные освобождены. И. В., принимавшій участіе в переговорах, вчера послѣ обѣда скрылся. Денег при нем не было“.

Здѣсь говорилось, конечно, о стачечных деньгах. И. В. был Иван Вавилов. Авторы замѣтки хотѣли устранить догадку о похищеніи денег, которая, очевидно, напрашивалась у многих товарищей.

У нас на заводѣ стало в то время дышаться вольнѣе; кое-что мы предпринимали.

IV.

Меня сцапали в самую жару новых приготовленій.

Настроеніе у меня было гадкое.

Когда я вошел в охранку и услышал запах духов, который густыми волнами ходил по всѣм комнатам, у меня уже стало совсѣм мерзко на душѣ.

Меня втолкнули в одну из клѣток—подождать допроса.

В сосѣдней комнатѣ говорили...

Я не вѣрил сам себѣ: по голосу я узнал Вавилова.

Разобрать нельзя было ничего, говорили тихо и ровно.

С вами, товарищ-читатель, бывает иногда так, что вдруг жгучая молнія пронзит вашу голову и вы в одну минуту передумаете столько, сколько не передумаешь за день. Время как будто выключает свои ходовыя шестерни, замирает, и мысль летит и стоит в одно и то же время...

Тут штука... заключил я свои догадки.

Это ужас, что я не могу никому об этом разсказать, предупредить, а, может быть, там при свѣтѣ охранных фонарей идет грязная работа...

Он—провокатор...

Ему некуда больше...

Мысль рвала и кружила: не потому ли я очутился здѣсь. На самом дѣлѣ,—кто на меня мог доказать. Наши заводскіе это сдѣлать не могли, от них так была скрыта наша работа. Кто-то дальній, очень дальній постарался... Усталая истерзанная мысль останавливалась на одном предположеніи: Вавилов меня предал... Как еще хорошо, что мы раньше не поддались на его штуки.

Снова вспыхнули мысли, неслись и бушевали, как шторм. Онѣ забѣгали в будущее: чья очередь теперь провалиться? А то ринулись в прошлое, и я ясно видѣл, я уже был увѣрен, что загадочные аресты были дѣлом его рук.

— Но вам же не семнадцать лѣт... вдруг послышался наступающій голос в сосѣдней комнатѣ.

— Да, мнѣ сорок,—спокойно отвѣтил Вавилов.

— Вы так просто не отдѣлаетесь. Мы вас подержим, да и подержим.

— Не впервые... так же спокойно отвѣтил Вавилов.

— Но я спрашиваю,—гдѣ же, однако, та нелегальщина, о которой в этом письмѣ упоминается?

— Моя нелегальщина? вскочил Вавилов, так что я мог его немного видѣть.

— Да, гдѣ, гдѣ она?

Вавилов завозился, хотѣл загнуть рубаху, но это не удавалось, он судорожно схватил ее, разодрал снизу до верху, и, ударив правой рукой по сердцу, закричал:

— В—во!.. В—во—моя нелегальщина!

Сразу оборвалась возня, улеглись крики, замолкли и оцѣпенѣли мысли у меня... И там за стѣной, кажется, онѣ тоже замерли.

Только минут через пять офицер прервал тишину и спокойно приказал дежурному околодочному:

— Переведите Ивана Вавилова из Спасской части в Дом предварительнаго заключенія...

Послѣ того, как захлопнули выходную дверью, позвали меня.

Офицер стал допрашивать меня, ходя из угла в угол.

Я что-то бормотал на его вопросы в отвѣт, но ничего не выходило, и я отказался от всяких показаній.

Жандарм прервал свой марш по комнатѣ, изумленно посмотрѣл на меня, схватился за перо.

— Вы хоть дайте свѣдѣнія о себѣ, о ваших родителях, семьѣ.

— И от этого отказываюсь, потом...

Офицер, видимо, убѣждался, что я знатная революціонная птица и нетерпѣливо постукивая ручкой, спрашивал:

— Но в чем же дѣло?

— Отправляйте меня пока обратно в тюрьму...

Меня повели второй раз фотографировать.



Штрейкбрехер.

I.

Семен Иваныч!—подбѣгал Никандров к мастеру, то снимая, то надѣвая картуз.

— Семен Иваныч, нельзя-ли как?

— Чего это?—спросил его мастер, не останавливаясь.

— Да вот насчет работки-бы, Семен Иваныч—подходил ближе Никандров, держась все-таки сзади мастера.

— Да вы же бастуете.

— Семен Иваныч, тѣснят, ей-Богу, вѣрьте честному слову, охальники. Выгнали весь народ с завода: прокричали, замахали руками, гвалт пошел, ну вот и пожалуйте...

— Вѣдь я вам говорил. Я предупреждал. Я знаю, что самим же будет хуже.

— Так, Семен Иваныч, мы... Я прямо на смерть шел против них...

— Вам и теперь опасно. Смотрите: пускай другіе, которые помоложе, придут.

Но Никандров оцѣнил эти слова как улыбку, как свѣтлую надежду. Онъ уже сожалѣл, что представил себя боевым штрейкбрехером.

— Семен Иваныч, сойдет. Бог выручит. Уважьте Семен Иваныч, я, как говорится, в работѣ хозяина не обижу. Сдавал не то что в аккуратѣ, а всегда старался через силу. А что, ежели выпиваю...

— Выпиваете,—это дѣло не касается: всѣ не без грѣха,—утѣшал его, видимо растроганный, мастер.

— Господи, со всякимъ случается,—поддакивал он, и вырастал от близких и, как ему казалось, почти дружеских слов мастера.

Никандров даже надѣл картуз.

— Ну приходите, пожалуй, с обѣда. Попробуем начать: попытка не пытка.

— Нѣт, Семен Иваныч! — испугался Никандров. — Я к вашей милости с большой просьбой: письмецо бы в конторѣ заготовили, переслали бы. В случаѣ чего,— так ребятам и скажу: письмо, мол, из завода. Пройдусь дескать, в завод, с письмом-то... а? поглядѣть, дескать...

Мастер задумался.

— Вы хотите, чтобы мы сами за вас расхлебывали эту забастовку-то?

— Так, вѣдь, Господи!.. Я для вас же хочу сдѣлать: вы для меня, как говорится, ничего плохого, слава Богу, не сдѣлали! Да и я для вас...

— Ну ладно. Я писать не буду, в конторѣ скажу.

—Спасибо, благодарствуйте, спасибо Семен Иваныч.

Никандров снял опять картуз и кланялся.

— Ну, до свиданія, — мастер протянул ему руку.

Никандров было отошел уже, но, увидѣв протянутую руку, рванулся, схватил ее обѣими руками, почувствовал, что надо сказать мастеру что-нибудь теплое, но не находил слов, а только мялся:

— Гг... Мм...

— Семен Иваныч!—произнес он и не знал, что еще произнести.

— А вас как зовут?—спрашивал мастер.

— Федором... а по батюшкѣ Васильевич.

— Ну, до свиданія, Федор Васильевич.

Никандров кланялся и уходил на заднія улицы пригорода, подальше от шоссе, на котором дежурили бастующіе товарищи.

II.

Когда Никандров, подходя к заводу уже с другой стороны, увидѣл делегата Смирнова, он сейчас же ссгнал с лица осадок умиленія, присерьезился и начал:

— Товарищ Смирнов, я полагаю, что, как говорится,—поартачатся-поартачатся, а сдадутся... Как вы думаете?—переминался он.

— Думать и гадать тут нечего,—отвѣтил спокойно Смирнов,—все зависит от нас.

— Так-то оно так...—мялся Никандров.

А Смирнов рубил:

— Вот видите: кто у стѣны,—тот сила, а кто ходит да волынки разводит,—это глина: всяко замѣсить можно.

Никандров посмотрѣл на черную толпу забастовщиков, расположившихся против завода молчаливой осадой. Кажется, еще не поднялась ни одна рука против его замыслов, не прозвучало ни одно проклятье, но нѣмая стѣна людей заставила его вздрогнуть. Он с'ежился и зачѣм то начал говорить Смирнову притихшим голосом:

— Да вѣдь у меня семья...

Смирнов посмотрѣл на него удивленно.

— В чем же дѣло то?—спросил он, готовя удар своим отточенным, закаленным словом.

— Как-бы насчет пособія,—господин Смирнов...

— Вы член Союза, товарищ?

— Как же... как говорится, записан за номером, все, как полагается.

— А книжка есть?

— Вот то-то и оно-то, что запропастил книжку-то. А была... такая... зелененькая.

— Да, да, зелененькая...

— Да как же, Господи, знаю. Да вѣдь меня видали в союзѣ-то которые.

*

Он подумал немного и, замирая под взглядом Смирнова, заговорил:

— Вы бы, может, хоть в долг маленько отпустили?

— В долг не даем.

— Так вы бы из ваших, из забастовочных... из сборов.

Весь запыхавшійся, с дѣловым, озабоченным видом, подбѣжал к Смирнову ученик слесаря—Панков.

— Чего это он трясется! — на ходу еще кричал Смирнову Панков, показывая на Никандрова.

— Ты постой!—осадил его Смирнов.

— За постой денежки платят, а у меня дѣло: эта трясучка с мастером путался, а теперь сюда пришел побираться.

— Ах ты мразь!—окрысился на него Никандров.

— Мразь нам в масть! а ты подлиза!

Никандров растяпил рот и хотѣл не то плюнуть, не то пустить ядовитую сплетню про Панкова, но Смирнов одернул его:

— Из союза вы не получите!

— Да он и в союз то вошел на-днях, во время забастовки: на-халтай хочет проѣхать.

— Ты уйди, щенок, я у тебя шерсть повытаскаю.

— Нак-выкуси! — поднес Панков свой маленькій кулак огромному Никандрову.

Никандров было замахнулся на Панкова, но так и застыл, когда посыпались, как орѣхи на пол, аплодисменты черной толпы забастовщиков, разгадавшей эту схватку.

Глухо внутренне свирѣпѣя, отходил Никандров и мигая посматривал на стѣну.

Легкій вздох вырвался у него только тогда, когда он увидал, что через дорогу к казенкѣ проходил Дмитрій, извѣстный в кварталѣ под именем: „сто три оплеухи".

— Митя! добавь к посудѣ. Выручи!

Димитрій махнул рукой.

— Моя закуска, твоя посуда, а свѣтозарную стрѣльнем!

Никандров подбѣжал к нему, как к новому неожиданному счастью.

III.

Рядом с казенкой была маленькая лавочка с закусками. На крыльцѣ ея цѣлый день шумѣл непрерывный митинг пьяных, хотя ни один оратор не интересовался,—слушают его или нѣт, да и слушатели часто аплодировали тогда, когда на трибунѣ не было ни души.

Никандров постепенно сползал с крыльца в осеннюю мѣшаную грязь.

Митька сначала его поддерживал, но потом махнул рукой: „Слава-те Господи, теперича уже не маленькiй: пятьдесят первый пошел,—ходи сам".

— Скотина ты! — огрызался Никандров снизу на Митьку. — Я тебя спрашиваю: и ты против меня идешь?

И подумав немного, орал:

— М-могу, али не м-могу имѣть р-р-револьвер!

— Из грязи, брат, не стрѣльнеш!

— А ежели буцут убивать?

— Тебя? презрительно спрашивал Митька сверху. Тебя наслом продать, так и то больше восьми копѣек с пуда не дадут.

Никандров позеленѣл, кое-как встал, размахнулся на Митьку, но тот зацѣпил ему ногу и швырнул в грязь.

Никандров пробовал выйти из грязи, но сползал ниже и барахтался в мутной водѣ канавы.

— Из союза окаянные, из союза, разбойники...

А Митька перегнулся с крыльца через перила и запѣвал:

„Яко по-суху пѣшешествовал Израиль".

Но Никандров уже не слышал этих слов: он воевал и дрался с призраками:

— Меня топить... меня губить... морить голодом...

Набрасывался на скользкій берег канавы и на всю улицу кричал:

— Долой союз!

К заводу бѣшеным галопом неслась полиція.

Соціальная стратегія.

Контора завода работает сегодня особенно напряженно. Никто не гонит, нѣт окриков, нѣт постояннаго надоѣдливаго глаза, но всѣ работают с энергіей, в которой скрыта тревога.

Правда, то и дѣло натянутыя струны рѣзко лопаются.

Двое писцов, сличающих расцѣночныя таблицы, постоянно поправляют друг друга, задыхаются при чтеніи и куда-то гонят, гонят...

Регистраторы, занятые діаграммами, ходят от стола к столу и все ищут справок, открывают промахи.

Нумераторы стучат тяжело и рѣзко.

Пишущія машинки—их цѣлый оркестр—щебечут, как испуганныя птицы. Волна их голосов то замирает, руки ослабляются от раздумья работающих, то загуляет жестким рокотом, в котором люди топят тревогу.

Телефонистка на станціи, пріютившейся в углу громаднаго зала, охрипла от крика: она то и дѣло переспрашивает, нарывается на непріятности при об'ясненіях, сердится... У ней показалась слеза...

На двух столах началась перебранка: старшему паспортисту показалось сегодня, что вся контора его хочет выжить...

За перегородкой в чертежной тоже что-то необычное: чертежники и младшіе инженеры гремят счетными машинами, включают и выключают проявительныя лампочки. Там поднялась возня, кричат на мальчиков, тѣ вырвались из дверей и понеслись галопом вниз.

Кого-то зовут, кого-то ищут...

Скорѣе!.. Скорѣе!..

Вдруг вздрагивает вся грсмадная контора...

Опускаются руки.

— Директорскій телефон...

Дѣвицы за ремингтонами вспыхнули... Стальной рокот оборвался. Писцы впились в бухгалтера.

Бухгалтер, блѣдный, с трясущейся нижней губой, худой, чопорный, идет к телефону...

— Да... Здравствуйте... Виноват... Совершенно вѣрно... Сію минуту... Восемьдесят... Да... Мужчин...

Контора замерла.

— Женщин пятьдесят... Сорок рублей... Да-да! Безусловно... Всѣ на мѣсячном... О-да!.. Сейчас... Сію секунду...

Бухгалтер поправляет смазанные волосы рукой, берет список служащих и ни слова не говоря, быстро выходит.

— Сбавка!—пробасил паспортист.

Всѣ вскочили, заговорили, заголосили... Телефонистка плотно закрыла дверь.

— Я так и знал...

— Не даром эту недѣлю они все придирались,— сказал мимоходом, но значительно, старичек-регистратор.

— Это дѣло бухгалтера...—прозвучал голос, оставшійся неизвѣстным.

— Ну, чего ждать от жидов—брякнул кладовщик.

— Позвольте, господа, я—еврей...

— Да я к слову...

Изящный регистратор подошел к дѣвицам и галантно объяснил, что всѣм сбавят на двадцать процентов.

— Я только предполагаю, однако,—заключил он.

— Да это же ясно!—отвѣчал ему хор женских голосов.

— Как жить? Для семейных это—зарѣз,—говорили поодиночкѣ пожилыя дамы.

В корридорѣ зашумѣли.

Голоса...

— Это он?

Шаги...

— Да, это его, его шаги!

Военные, грузные... Шаги директора!

— Сюда!

Контора рванулась к работѣ. Писцы уткнулись... Зачитали опять расцѣночныя вѣдомости... Машинки бѣшено застучали: точно сыплется на желѣзо дождь крупной дроби.

Барышни вспыхивают и блѣднѣют... У них потѣют руки.

Шаги у дверей...

— Нѣт-нѣт... Не сюда...

Пенснэ сверкнули мелкой молніей в конторском корридорном окнѣ.

Он не идет, он бѣжит... Он не смотрит, он жжет глазами... Он не курит, он ѣст, уничтожает сигару... Дым—это его дыханіе...

Он рѣшил!..

Он злой, непреклонный...

Машинки снова сбавляют голоса, затихают.

— К-к-кажется,—заикается паспортист:—н-н-нѣкоторых увольняют...

— Да! это вѣрнѣе!

— Конечно, конечно! Любимчики останутся...

Всѣ галдят опять... Появилась какая-то отчаянная смѣлость. Нѣкоторые прямо задерзили:

— Надо из нашей среды депутацію!

А старик шипит своим сухим безкровным шепотом:

— Иван Васильевич как будто только сегодня начал заикаться... Иван Васильевич, что с вами?

— С-с-ступайте! Оп-п-пять я в-в-виноват,—испугался паспортист, думая, что его опять в чем-то подозрѣвают.

Дверь распахнулась. Не глядя на служащих, прошел бухгалтер к своему бюро.

Все ждут, не работают...

Сзади пожилая дама шепчет:

— У него появились на щеках красныя пятна...

И как будто этот же голос сам себѣ испуганно отвѣчает:

— Выступает чахотка... И ему не легко...

Бухгалтер окидывает контору взглядом из-под очков...

Контора слушает.

Тишина. Снизу несется гул завода. Он кажется теперь особенно безрадостным и зловѣщим.

— Господа... Измѣненія... Новыя правила...—пробует мягче начать бухгалтер.

— Да какія же?—шепнула барышня, не сдержавшая свое нетерпѣніе.

— Господин директор... вводит такой порядок: на работу приходить не в 9 часов, а в 7 часов утра.

— З-з-замѣчательно!—вырвалась иронія у изысканно одѣтаго конторщика Михайлова. Серьезное настроеніе чуть-чуть снялось вѣтерком молодого смѣха.

Бухгалтер поморщился, но продолжал:

— Приходить в 7 часов... вмѣстѣ с мастеровыми.

— Удивительно интеллигентно!—опять вставил Михайлов.

— Я вас прошу воздержаться,—не выдержал бухгалтер и скорѣе, чтобы не нарваться на новую выходку, продолжал:

— И потом... Это главное... всѣ конторскіе служащіе переводятся на часовую плату.

— Чорт знает!—не вытерпѣл Михайлов.

— Я вас пра-ашу...

— Нечего просить! Я ухожу и сам... К чорту такую казарму!

Михайлов одѣвается и уходит.

Публика разступается.

Кто-то пускает вслѣд Михайлову:

— У него протекція в судѣ. Он поступает туда. Счастливый...

Контора, однако, заволновалась.

Всѣ столпились около бухгалтера.

Он немного подался назад.

— Господа, не нервничайте!

— Но сколько же в час? наступал грубый голос.

Женскій плачущій голос кричит:

— Это стыд! Это срам, Иван Антоныч!

— Я не при чем,—немного перетрусил бухгалтер.

— Сколько в час?—басил голос.

Бухгалтер поблѣднѣл, как полотно, и не своим голосом произнес:

— Начинать... всѣм... с девяти копѣек...

— Как? Что? Это возмутительно. Нас равняют с чернорабочими. Даже ниже...

Контору нельзя было узнать.

Робкіе, никогда не говорившіе писцы, начали дерзко пробирать бухгалтера за его надоѣдливость, дѣвицы обступили его со всѣх сторон и укоряли:

— Это за такой идіотскій труд!

Даже паспортист возмутился и бормотал:

— На мнѣ-то это не отразится, но все-таки за людей жалко.

Бухгалтер терялся в этом водоворотѣ человѣческаго возмущенія, крика, шума.

— Я сам ошеломлен,—шептал он.

Но публика этим и воспользовалась.

Откуда-то появилась храбрость.

— Вы сами прислуживаетесь к директору.

Из угла крикнули:

— Лакей!

Бухгалтер цѣпенѣет...

Ему кажется, что молодые писцы угрожающе машут ручками. Они выколют глаза...

И в этот момент человѣческаго изступленія вошел в контору директор...

Он вошел всего только второй раз за все время существованія завода. Первый раз он вошел давно, мѣсяца четыре назад со словами:

— Плохо работаете! Как дѣти!

И ушел.

Теперь он пустил тучи дыма прямо перед собой, пронзил взглядом бухгалтера, слегка подался к дѣвицам.

Но тѣ схлынули, как под напором шеренги городовых.

Подошли к машинкам. За ними попятились назад писцы. Паспортист начал нервно рыться и шумѣть в больших конвертах...

Тикнул звук пишущей машинки... Как будто невзначай... За ним еще... На одной машинкѣ затрещала срочная бумажка. На другой тоже... И еще... Вот их уже безпорядочный хор.

И вся контора заработала.

Директор еще раз зловѣще сверкнул пенснэ и, обращаясь к бухгалтеру, спросил его своим ѣдким баритоном:

— А сколько теперь... у нас в кладовой... инструментальной стали?

Своими глазами директор спрашивал совсѣм о другом.

Бухгалтер остолбенѣл. Но, однако, все же нашелся и виновато пробормотал:

— Триста двадцать один пуд, двадцать семь фунтов.

Директор не слушал его отвѣта, а вытянул нижнюю челюсть, оттолкнул ею кверху сигару и, через дым глядя на контору, громко и злостно сказал:

— Дутое все это! Дутое!.. В кладовой—сто восемнадцать пудов.

И стремительно вышел.

Ни одного восклицанія не вырвалось больше в конторѣ.

Всѣ заработали, заспѣшили, нагнулись.

Шуршанье, скрип, треск, звон.

И гнали, и гнали, и гнали.

Почасовая плата вводилась с нынѣшняго дня.

Сильнѣе слов.

(Из пролетарских новелл).

Наждачное отдѣленіе в заводѣ было отгорожено от мастерской стеклянными стѣнами. Сухая наждачная и стальная пыль садилась на окна и сдѣлала их матовыми. Ничего не было видно, что дѣлалось там. Пожары искр быстро освѣщали стеклянную клѣтку и по окнам пробѣгали тѣни не то людей, не то призраков. Непрерывный гул несся из клѣтки.

Работу на сухом наждакѣ выдерживали немногіе. Уже через полгода люди казались полумертвыми. Они становились блѣдны, неразговорчивы. Человѣческаго и живого в них оставалась одна только злость. Самое большее через год уже всѣ кидали работу. Собирали инструменты, бросали залпами в стеклянную будку проклятія, плевали и требовали расчета.

Удержался только один. Это старик. Кости его были геркулесовскія, рост необычайно высокій, грудь широчайшая.

Когда то он был лучшим борцом в городѣ, красавцем, казался даже баловнем жизни.

Теперь у него остались тѣ же геркулесовскія кости, но мускулы высохли, грудь вдавилась. Голова его начала сѣдѣть, но пыль съѣла сѣдину и волосы стали сѣры, как пепел.

Начальник любил пробѣгать по мастерским перед самым гудком; он требовал, чтобы кончали работать минута в минуту, ровно в двѣнадцать.

Он как то забѣжал в наждачную клѣтку.

Отворил дверь и... окаменѣл.

Перед ним привидѣніе: высокій силач, весь в сѣром — сѣрая одежда, сѣрая голова, сѣрое лицо, руки. На глазах черные очки.

Человѣк, привыкшій к заводскому шуму, может сквозь желѣзный грохот разслышать легкій шелест двери: старик остановил работу, снял очки. Начальник увидал у него слезы.

— Вы плачете?

Старик помотал головой и показал на пыль.

— Ах, она ѣдкая... проговорил начальник.

— Вы давно работаете?

Старик уже нѣсколько лѣт ни с кѣм не говорил: работа пріучила его молчать, сухая грудь отвѣчала кашлем на каждое слово старика.

— Тридцать пять... процѣдил он.

Его голос показался начальнику страшен.

У него сразу мелькнула мысль: это один из тѣх, которые держатся на заводѣ для агитаціи. Они вербуют людей в союз, в партіи, они говорят на собраніях. Такіе люди могут потрясать милліоны своим загробным голосом.

— Скажите, Вы в пятом году не выступали на митингах?

— Нѣт... оборвал старик.

— И Вы не были депутатом?

— Голосу нѣт — прохрипѣл отвѣт...

Начальник терялся в догадках.

Закашлявшійся старик что то произносил, но начальник не понимал.

— Вам бы надо на покой... подходил к нему начальник. Я буду хлопотать Вам о пожизненной пенсіи от завода.

Старик закачал головой.

Попытался говорить, но не мог.

Наконец, он преодолѣл тиски, сжимавшіе ему грудь и твердо сказал:

— Я делегат.

— От кого?.. испуганно и удивленно спросил начальник.

— От тѣх... показал старик на землю.

— Это от кого же? От каких?

— Которые ушли...

— Куда?

— Туда... показал старик вниз... Под станки.

— В могилу...

Трансмиссіи вздрогнули, сбавили тон.

Заревѣл гудок.

Старик сбросил куртку.

Завод встал. Послышался крик, говор и смѣх выходящей толпы.

Старик, не откланявшись с начальником, быстро вышел из клѣтки.

Тихо шел за ним начальник.

Старик прорѣзал толпу, он был выше ея на цѣлую голову.

Сразу крик и смѣх отлетѣли.

Завод онѣмѣл. И по его сводам, как в могильном склепѣ, несся и бился кашель старика.

Он так гулко и глухо бухал, что кашель казался самым совершенным словом, словом тѣх, что ушли, что в могилах.

И на мгновенье казалось, что завод остановился не по гудку, а колеса застыли от этого кашля.

Один, единый общій вздох в толпѣ. Вздохнул великан-завод и наждачная пыль, проникшая из клѣтки, тихо садится на голову толпы. Толпа движется, затихшая, сразу как будто потерявшая молодость. Шаги ея, замедленные и неровные, говорят о том, что в жизни иногда самый обыкновенный выход превращается в процессію.

Старик на этот раз закашлялся так, как никогда.

Он стал задыхаться и, окруженный толпою, упал.

И умер без агоніи.

***

Старика хоронили через два дня.

Встали всѣ заводы нашего „Чернаго предмѣстья“. Не работали и на промыслах.

Тихо, только для поддержанія огня, горѣли кочегарки. Заводскія трубы ровно дымились и стояли на фонѣ неба как потушенныя свѣчи в храмѣ капитала. Вышки, нѣмыя и черныя, казались траурными великанами, склонившими головы.

Рабочая толпа шла без пѣсен и молитв, как приговоренная к молчанію.

Ни слов, ни рѣчей не было сказано.

Не было ни одного вѣнка; всѣ знали, что наждачная пыль, которую унес в своей груди старик, что эта пыль завтра пройдет сквозь могилу, загубит вѣнок и сердце толпы еще раз будет поругано.

На могилу положили тот самый наждачный камень, на котором работал покойный: это была его послѣдняя воля.

На камнѣ алмазом вырѣзали надпись:

„Агитатору Чернаго предмѣстья, не знавшему слов“.

Мысль.

Верхним летом жизни бурной
Сердце нѣжное зажги,
Замани игрой лазурной,
Ранним зовом пробѣги.

Зашагай по злым трясинам,
Вплавь пустись на океан
И к измѣнницам-судьбинам,
Правь до самых крайних стран.

В далях выплывут стремнины:
Бѣг в них бѣшеный прерви,
На жемчужных ты вершинах
Взгляд стальной останови.

Дальше, выше взором жгучим
Пронижи, быстрѣй гляни
И к тяжелым, мрачным тучам
Дерзко крыльями метни.

Бей, разбей, греми сильнѣе,
Тучи душныя развѣй,
В легком небѣ мчись вольнѣе,
Вѣстью радостной зардѣй.

Бей крылом своим над міром,
Гордым знаменем несись
И с тревожным верхним гулом
В выси жуткія вонзись.

Там, за гранями видѣній,
В гимнах музыки-мечты
Бьется радость, бьется геній,
Жжет порывом красоты.

Бей крылом, и в звѣздной дали
Храм-алтарь ты отвори.
Выжги новыя скрижали,
Вдохновись, заговори.

Зазовут, зазвонят зори,
Пѣсней вздымутся моря,
Свой мятеж взовьет в просторы
Вдохновленная земля.

Я люблю.....

Я люблю вас, пароходные гудки,
—Утром ранним вы свободны и легки,
Ночью темной вы рыдаете, вы бьетесь от тоски.

***

Я люблю тебя, убогій, грязный трюм,
Этот бѣшеный, подвальный жизни шум,
То мятежный, то как омут зол-угрюм.

***

Я люблю тебя, суровая корма:
Стоном пѣсен рулевых ты вся полна,
Но голубит и ласкает тебя вольная волна.

***

Я люблю и вѣчно хмурую трубу,
Что все смотрит—не насмотрится в судьбу,
Мрачно думает, вздыхает про борьбу.

***

Но всѣх больше полюбил я вас, сигнальные огни:
В бурѣ, в штормѣ вы гуляете одни,
С горизонтов нелюдимых всѣм видны.

***

Эх,—подымутся напасти злой воды,
Мы помрем, подохнем с голода, с нужды,
Онѣмѣют всѣ гудочки от бѣды,

***

*

Трюм затихнет, похоронит мятежи,
Руль согнется, хоть держи иль не держи,
Пароход погибнет в морѣ мутной лжи.

* *
*

Но огни сигналов наших будут биться на волнах,
Потухать... но на отчаянных челнах,
Умирать... но как призывный свѣтлый взмах.

* *
*

Все забудется, все можно потопить,
Можно в глубях наше судно все сгноить,
Не устанут только люди говорить,

* *
*

Что смѣялися огни над злым бичем,
Не хотѣли сдаться бурѣ ни по чем
И метались перед смертью в морѣ пламенным мечем!

Арестантская пѣсня.

Мнѣ сегодня снился сад
Утренній, цвѣтущій,
Блеском солнечных каскад
К небесам зовущій.

Мнѣ сегодня снился лѣс
В бурных переливах,
Море сказочных чудес,
Пѣсни в свѣтлых нивах.

Мнѣ приснился милый край,
Дальній, без названья,
Говор нѣжный: „забывай,
Схорони страданья“.

Сердце билось, рвалось ввысь,
Крылья вырастали,
Я кричал себѣ: борись,
Куй мечи из стали.

Я поднялся над землей,
Рѣял в звѣздных странах
И с отчаянной борьбой
Позабыл о ранах.

Но сорвался и упал,
Загремѣл цѣпями,
Кандалы свои узнал,
Залился слезами.

Нѣт, не надо свѣтлых слов,
Грез позолоченых,
А найти бы для оков
Молотов каленых,

Буду думать день и ночь,
Как бы расковаться,
Выдрать всѣ рѣшетки прочь
И к своим пробраться.

Как подстрѣленный орел
Вырвусь из темницы,
Буду яростен и зол
С страстью дикой птицы.

Пусть послѣдняя сгорит
В горлѣ кровь и пѣна,
Пусть послѣдняя пронзит
Сил моих измѣна,

Но огнем заговорю,
Запою пожаром
И головушку сгублю
Вольную не даром!

Дума работницы.

Я сегодня утром по полю гуляла,
Дожидалась в травкѣ, как пробьет гудок.

Я в тропинках дивных счастье все искала,
Я во овражках чудный сорвала цвѣток.

Думала, мечтала, зорьку вопрошала,
Не опять ли к нивкам брошенным пойти?

Так в душѣ легко бы, вольно бы мнѣ стало,
Так легко бы счастье давнее найти.

Но пути-дороженьки всѣ-то позабыты,
Старый дом разрушен, сломан и сожжен,
Милыя рѣчушки, прудики разрыты,
Сон мой дѣтскій, ранній жизнью погребен.

Загулял, забѣгал, зазвонил призывно
Застонал надрывным голосом гудок:
Встань скорѣй, работай быстро, непрерывно,
Заведи сверлильный, чистенькій станок.

Ну и не печалься, не гляди тоскливо
В старыя сказанья, заглуши их стон,
А бѣги к надеждам новым торопливо,
Живо откликайся на машинный звон.

Ты укрась машины свѣжими цвѣтами,
Лаской, нѣжной грезой, отумань, обвѣй.
Смѣлыми одѣнься, обогнись мечтами,
Алыя знамена на станках развѣй.

Я полюбил.

Я полюбил тебя, рокот желѣзный,
Стали и камня торжественный звон,
Лаву... Огонь безпокойный, мятежный
Гимнов машинных, их бравурный тон.

Я полюбил твои вихри могучіе
Бурнаго моря колес и валов,
Громы раскатные, ритмы пѣвучіе,
Повѣсти грозныя, сказки без слов.

Но полюбил я и тишь напряженную,
Ровный и низкій и сдержанный ход,
Волю каленую, в бой снаряженную,
Мой дорогой, мой любимый завод.

Первая пѣсня.

Нас родила красавица-буря морей,
Остудила, обмыла отвагой своей
И запѣла нам: «будьте смѣлѣй!»

***

Напоенная злобой бездонных пучин
Вмѣсто ласки пригнала нас в омут кручин
И все пѣла: «я вам господин!»

***

Опьянилась мученьем родимых дѣтей,
Навязала из пѣны нам топких сѣтей
И ревѣла: «царица морей!»

***

Одурманилась муками.. Сѣверных льдов
К нам пригнала, холодных оков
И надменно гремѣла: «царица вѣков!»

***

Но вам матери мало: отца!.. я вам дам,
И примчался весь черный, весь злой ураган.
И гремѣл нападеньем: «топи океан!»

***

«Ди—на—ми—та!» мы крикнули прямо в глаза
Изступленной родимой... Сверкнула слеза
И рыданьем ужасным запѣла гроза.

***

«Ди—на—ми—та!» мы грянули хором стальным,
Разогнали приливы ударом одним
И неслось к океану: «тебя покорим!»

***

Первый луч.

Чуть раздались, пріоткрылись облака сѣдой зимы,
Зовы верхніе мятежные услышали вдруг мы.

Улыбнулись, заискрились солнца ранняго лучи,
В снѣг сбѣжали и разбились блеском пурпурной парчи.

И поднялись люди кверху от тоскующей земли,
Забуянили надежды окрыленныя вдали.

О не скоро, не так скоро к нам весна с небес
придет,
Нѣт, не скоро хоры пѣсен свѣтлых с моря приведет.

Но, повѣрьте: мы натѣшимся, взовьемся, полетим,
Хороводы мы с гирляндами цвѣтными закружим,

Мы забрыжжем, мы затопим весь цвѣтами старый мір,
К солнцу, звѣздам слышен будет наш безкрайный,
хмѣльный пир.

Мы согрѣем, мы освѣтим, мы зажжем всю жизнь
весной,
Мы прокатимся, промчимся по землѣ шальной волной,

Мы ударим!
Пріударим!
Мы по льдинам,
По твердыням,

Мы. . . Да что тут говорить?—
Безпощадно зиму будем мы разить и хоронить!

Мы идемъ!

Мы падали. Нас поражали.

Но в муках отчаянных все ж мы кричали: „Мы явимся снова, придем!“.

Сѣрые дни поползли по землѣ.

Попрятались красныя зори, забыты надежды, был выжжен сомнѣньем порыв.

То яростно бился о камни, то черной тоской залегал по долинам вѣтер—бездомный скиталец; таился и жался измученный.

Но всеж, собирая послѣднія силы, он вихрем взвивался в заснувшія выси, тучи лѣнивыя в миг разрывал и показывал солнце; падал стремглав он опять с вышины, буйно туманы в низинах кружили и свистом пронзительным даль прорѣзал: „Мы явимся снова, придем!“

Кутали землю, как трауром черным, душили тяжелыя ночи.

Шарила в царствѣ своем, разгулялась костлявая смерть. Плакал дождем постоянно разсвѣт, в саванах бѣлых все шли без конца вереницы... Злыя и жадныя тѣни кружились надъ жертвой, ее поругали. Вздохъ проносился предсмертный, глубокій, глаза потухали... Но блеском послѣдним все ж тьму прожигали: „Мы явимся снова, придем!“.

А на том берегу пировали. Там—танцы, безумно веселые танцы. На чьихъ-то могилах воздвигнуты новые замки. Музыка в диком угарѣ неслась: „Он умер, он умер. Не встанет“.

Пьяный разгул увлекал... Увлекал до безсилья. Пир истомил их, устали они. Мирно покойно дремали.

Совсѣмъ безмятежное, тихое утро...

Вдруг с нашихъ, казалось, умерших постов, началась перекличка: барабанили зорю.

Музыка замков дала перебой: „Нѣт, не придет, не воскреснет".

Дала перебой и затихла. Совсѣм замерла ожиданьем... А с нашего берега звонко неслось:—„Мы снова, мы снова идемъ. Мы прямо с работы, мы с душных заводов, чумазые, с шахт и из темных подвалов. И прямо на свѣтлый ваш пир".

Свѣтало. На замках тревожно играли и бились ночные огни. А по небу шла, расходилась, как вольная пѣсня, заря, то тихо верха облаков зажигала надеждой, то дерзким пожаром рвалась, огнем обнимала холодное небо.

Идем мы и дышем мятежной отвагой. Просятся, рвутся, летят и поют переливы восторженных слов.

Мы идем! Нам нельзя не идти: встали мрачныя тѣни недавних разбитых бойцов; поднялися живые преданья былого—сраженные раной отцы.

Мы за ними.

Совсѣм впереди, и сильнѣй, и отважнѣй, чѣм мы, зашагали пришедшіе в жизнь молодые борцы. А вот наши подруги—друзья по станку. В руках онѣ счастье свое дорогое—дѣтей—принесли. И смотрите: от груди едва оторвался ребенок, а дѣлает радостный взгляд к небесам, вольные всплески ручонок, к новому міру он рвется.

И идем, и бѣжим и несемся громадой своей трудовой.

Нас ничто не страшит: мы пути по пустыням, по дебрям проложим!

По дорогѣ—рѣка... Так мы вплавь! По саженям... отмахивать будем и гребнистыя волны разрѣжем.

Попадутся лѣса... Мы пронижем и лѣс своим бѣшеным маршем!

Встрѣтятся горы... До вздоховъ послѣдних, до самых отчаянных рисков к вершинам пойдем. Мы возьмем ихъ!

Мы знаем,—заколет в груди... Но великое с болью дается. Для великаго раны не страшны. До вершин доберемся, возьмем их!

Но выше еще, еще выше!—В побѣдном угарѣ мы с самых высоких утесов, мы с самых предательских скал ринемся в самыя дальнія выси!

Крыльев нѣт?

Они будут! Родятся... во взрывѣ горячих желаній.

О идемте, идем!

Уже—в прошлом осенняя дикая, пьяная ночь. Впереди—залитая волшебною сказкой, вся в музыкѣ тонет, вся бьется, как юное счастье—свобода.

Идем!

Часть II.

Гудки.

Когда гудят утренніе гудки на рабочих окраинах, это вовсе не призыв к неволѣ. Это пѣсня будущаго.

Мы когда то работали в убогих мастерских и начинали работать по утрам в разное время.

А теперь утром в восемь часов кричат гудки для цѣлаго милліона.

Теперь мы минута въ минуту начинаемъ вмѣстѣ.

Цѣлый милліон берет молот в одно и то же мгновеніе.

Первые наши удары гремят вмѣстѣ.

О чем же поют гудки?

— Это утренній гимн единства!

Ворота.

Я цѣлый год вас не видал. Дрожу и бѣгу к вам, черныя трубы, корпуса, шатуны, цилиндры.

Готов говорить с вами, поднять перед вами руки, воспѣвать вас, мои желѣзные друзья.

Я полон утра, солнца, я в золотѣ юности, передо мной без конца несется чудесное.

Иду на завод, как на праздник, как на пиршество.

Рабочій городъ залит, утонул в лучах. Ночная тьма плавится, и льется лавина, море, обвалы огня.— Пышущій, пылающій заводъ.

Линія корпусов послала огни в поле, к оврагам, зажгла холодную росу тысячами бисера.

Привѣсные фонари пробудили дремлющія болота. Вчера еще нѣмыя, они движутся, говорятъ, в осоках льется шопот свѣтлых сказок.

А съ башни прямо вдаль огненно-бѣлая струя, как брызг раскаленнаго металла, как застывшій выстрѣл, пронзила лѣс. В лѣсу заходили шальныя тѣни, птицы подняли небывалый гвалт и бурлят как люди на митингѣ, молодые голоса запѣли весеннюю пѣсню, вдаль понеслось цоканье дизелей: это аплодисменты передъ открытіем занавѣса, дороги загудѣли октавами подземнаго ропота... Вырвались сирены и сотней завыли над городом; вот-вот вырвется еще новый свѣт, необъятный, невиданный, невообразимый свѣт, свѣт!

Черным водопадом ввергается в заводскую пасть народ. Силачи-ворота без страха, не мигая, берут, все глотают, глотают.

Сотня... другая... третья...

Тысяча...

Другая...

И еще... И еще...

Мы на дворѣ.

— Осѣняющая сила желѣза!

Только вошел, и уже полонен, покорен, закован весь без остатка стихiей грома, движенiя, свѣта.

Воздух гремит и восторженно стонет. Желѣзная душа завода пронзила толпу. Грудь загудѣла металлической дрожью. В корпусах началась грузная возня. И все тяжелѣе, все громче.

Корпуса разорвутся, лопнут. Они сейчас снимутся съ мѣста, взорвутся. Разразится катастрофа, из земли вырвутся фонтаны раскаленнаго металла...

— Ну, да грянь! Грянь!—Мы готовы! Мы на дворѣ, мы уже другiе.

Толпа идет новым маршем, ноги уловили желѣзный темп.

Руки горят, им нельзя без дѣла, им не терпится без молотка, без работы. Токи энергiи надо разрядить.

— Бей же! Бей!

Да скорѣе, да чаще!

Руби, пили!

К машинам!

Мы—их рычаг, мы—их дыханiе, замысел.

Тысяча работников, необъятная площадь станков.

— Пѣсню!

Желѣзную!

Одну, единую!

Еще, еще быстрѣе мчитесь колеса!

Камень, металл, работники, все в вихрѣ, смѣшалось.

Стальной шквал. Огненный смерчь. Ураган работы.

*

— Вниманіе!

На секунду! Только сразу, всей тысячей:

— Желѣзный демон вѣка с человѣческой душой, съ нервами, как сталь, с мускулом, как рельса.

Вот он!

Он добьется, он дойдет, он достигнет!

Башня.

На жутких обрывах земли, над бездною страшных морей выросла башня, желѣзная башня рабочих усилій.

Долго работники рыли, болотные пни корчевали и скалы взрывали прибрежныя.

Неудач, неудач, сколько было, несчастій!

Руки и ноги ломались в отчаянных муках, люди падали в ямы, земля их нещадно жрала.

Сначала считали убитых, спѣвали им пѣсни надгробныя. Потом помирали без пѣсен прощальных, без слов. Там под башней погибла толпа безымянных, но славных работников башни.

И все ж побѣдили... и внѣдрили в глуби земли тяжеленные, плотные кубы бетонов-опор.

Бетон, это—замысел нашей рабочей постройки, работою, подвигом, смертью вскормленный.

В бетоны впились, в них вросли, охватили огнем их, желѣзныя лапы-устои.

Лапы взвились, крѣпко сцѣпились желѣзным объятьем, кряжем поднялися кверху и, как спина неземного титана, бьются в неслышном трудѣ-напряженьи и держат чудовище-башню.

Тяжела, нелегка эта башня землѣ. Лапы давят, прессуют земные пласты. И порою как будто вздыхает сжатая башней земля; стоны несутся с низов, подземелья, сырых необъятных подземных рабочих могил.

А желѣзное эхо подземных рыданій колеблет устои и все об умерших, все о погибших за башню работниках низкой желѣзной октавой поет.

На лапы уперлись колонны, желѣзныя балки, угольники, рельсы.

Рельсы и балки вздымаются кверху, жмутся друг к другу, бьют и ловят друг друга, на мгновенье как будто застыли крест-на-крест в борьбѣ и опять побѣжали все выше, вольнѣе, мощнѣе, друг друга тѣсня, отрицая, и снова прессуя стальными крѣпленьями.

Высокò, высокò разбѣжались, до жути высоко, угольники, балки и рельсы; их пронзил милліон раскаленных заклепок,—и все, что тут было ударом отдѣльным, запертым чувством, возстало в гармоніи мощной порыва единаго... сильных, рѣшительных, смѣлых строителей башни.

Что за радость подняться на верх этой кованой башни! Сплетенья гудят и поют, металлическим трепетом бьются, дрожат лабиринты желѣза. В этом трепетѣ все—и земное, зарытое в нѣдра, земное и пѣсня к верхам, чуть видным, задернутым мглою, верхам.

Вздохнуть, заслѣпиться тогда и без глаз посмотрѣть и почувствовать музыку башни рабочей: ходят тяжелыми ходами гаммы желѣзныя, хоры желѣзнаго ропота рвутся и душу зовут к неизвѣданным, большим чѣм башня, постройкам.

Их там тысячи. Их милліон. Милліарды... рабочих ударов гремят в этих отзвуках башни желѣзной.

Желѣзо—желѣзо!.. гудят лабиринты.

В свѣтлом воздухѣ башня вся кажется черной, желѣзо не знает улыбки: горя в нем больше чѣм радости, мысли в нем больше чѣм смѣха.

Желѣзо, покрытое ржавчиной времени, это—мысль вся серьезная, хмурая дума эпох и столѣтій.

Желѣзную башню вѣнчает прокованный, свѣтлый, стальной, весь стремленіе къ дальним высотам, шлифованный шпиль.

Он синее небо, которому прежніе люди молились, давно разорвал, разбросал облака, он луну по ночам провожает как странника старых, былых повѣстей и

сказаній, он тушит ее своим свѣтом, спорит уж с солнцем...

Шпиль высоко летит, башня за ним, тысяча балок и сѣть лабиринтов покажутся вдруг вдохновенно легки, и рѣет стальная вершина над міром побѣдой, трудом, достиженьем.

Сталь, это—воля труда, вознесеннаго снизу к чуть видным верхам.

Дымкой и мглою бывает подернут наш шпиль: это черные дни неудач, катастрофы движенья, это ужас рабочей неволи, отчаянье, страх и безвѣрье...

Зарыдают сильнѣе тогда, навзрыд зарыдают октавы тяжелых устоев, задрожит, заколеблется башня, грозит разрушеньем, вся пронзенная воплями сдавшихся жизни тяжелой, усталых... обманутых... строителей башни.

Тѣ, что поднялися кверху, на шпиль, вдруг прожгутся ужасным сомнѣньем: башни, быть может, и нѣт, это только мираж, это греза металла, гранита, бетона, это—сны. Вот они оборвутся... под нами все та же бездонная пропасть—могила...

И, лишенные вѣры, лишенные воли, падают вниз.

Прямо на скалы... На камни.
Но камни, жестокіе камни...
Учатъ!

Или смерть, или только туда, только кверху,—крѣпить и ковать, и клепать, подыматься и снова все строить и строить желѣзную башню.

— Пробный удар ручника...
Низкая пѣсня мотора...
Говор желѣзный машины...

опять побѣжали от тысячи к тысячѣ токи.
опять милліоны работников тянутся к башнѣ.
Снова от края до края земного несутся стальные каскады работы, и башня, как рупор-гигант, собирает их в трепетной пѣснѣ бетона, земли и металла.

Не разбить, не разрушить, никому не отнять этой кованой башни, гдѣ слиты в единую душу работники міра, гдѣ слышится бой и отбой ихъ движенья, гдѣ слезы и кровь уж давно претворились в желѣзо.

О иди же, гори, поднимайся еще и несись еще выше, вольнѣе, смѣлѣе!

Пусть будут еще катастрофы...

Впереди еще много могил, еще много паденій.

Пусть же!

Всѣ могилы под башней еще раз тяжелым бетоном зальются, подземные склепы сплетутся желѣзом, и на городѣ смерти подземном ты безстрашно несись

И иди
И гори,
Пробивай своим шпилем высоты,
Ты, наш дерзостный башенный мір!

Рельсы.

Всюду прошли, залегли, пробѣжали, кругом опоясали землю тяжелыя, крѣпкія рельсы.

Быстрой стрѣлою порой подымаются, в глуби туманныя вдруг окунаются, пламенем бѣлым блестятзагораются в тихих равнинах-степях.

Загудят, запоют заунывно по свѣту, тоскуют в ущельях холодныя рельсы.

Говорят и звенят по лѣсам перепѣвом далеким больших городов.

И рокочут, рыдают схороненным, запертым эхом колес силачей-паровозов по горным, наполненным тьмою, туннелям.

Пѣсни и звоны стальные для одних хороши и вольны, другіе боятся их: говор и бой закаленный пугают.

Ох, иногда загрустит и замечется скованный рельсами мір!

Но приходит задуманный в битвѣ, рожденный в огнѣ, из под молота взятый, машиной вскормленный и гулом заводским взлелѣянный, вѣчно растущій работник-творец.

Легким, свободным полетом вздохнет.

Гордо, голову к далям еще непробитым подняв, вздохновится и скажет:

— Дивно я сжал мою землю-планету стальною, прокованной волей. Дерзко на бой вызывал я земныя, когда-то ужасныя, злыя стихіи; я их побѣдил, приручил, заковал.

— Пробивай же еще, отточенным рѣзцом прорѣзай непробитую жесткую даль.

— Твердый металл закали, отшлифуй, доведи, огня из схороненных глубей земли принеси и грянь своим молотом вѣрным, зубилом заправленным мѣтко вонзи и пытливую мысль в неизвѣстное взвѣй.

— Ты погибнешь?

— Умри хоть с одним покоренным безумным желаньем! Пусть не ты воплотил, но порывы труда боевого другим передай.

— Все пытайся ковать и ковать, все пытайся тяжелыя рельсы стальныя поднять и продвинуть в бездонных, безвѣстных, нѣмых атмосферах к сосѣдним, пока не разгаданным, чуждым планетам.

— Нельзя?

— О, много погибнет... Умрут без числа... Но я знаю, увѣрен: скуют, опояшут вселенную быстрыми, сильными рельсами воли.

То-то родится в усильях желѣзных, то-то взойдет и возвысится, гордо над міром взовьется, вырастет новый, сегодня незнаемый нами, краса-восхищенье, первое чудо вселенной, безстрашный работник-творец-человѣк.



Кран.

Земля задрожит..... Приготовьтесь.

Многіе годы, вѣка строили мы кран.

Его станина была цѣлым городом камня и стали. Под ним глубоко осѣдали толщи земли, заставляли вздрагивать работников и в душѣ оставляли ожиданіе силы, неизвѣданной силы.

Мы стали смѣлѣе, и миріады замыслов рождались каждый день у строителей.

Кверху неслись один за другим угольники, брусы и скрѣпы; кран вырастал, в воздухѣ понеслась горящая поэма о металлѣ, слышался голос, идущій из земли через брусы за облака, к звѣздам, звѣзды и весь купол вселенной дрожали, замирая от чуда, готоваго разразиться, ослѣпить неработавших и открыть новые глаза работающим.

— Кран готов.

Подняли судно из моря, затонувшее сто лѣт назад и затянутое илом океана.

Подняли желѣзный віадук и перенесли водопроводныя башни с одного берега рѣки на другой.

Кран все рос, все смѣлѣл, горделиво возносился над землей и металлически-шумно дерзил своей растущей силой.

По временам у него из-за плетеных балок и брусьев смотрѣли глаза, полные дальняго замысла. И тогда в людских толпах загуляли восторженныя легенды и повѣсти о будущих подъемах, о еще больших, о тяжелѣйших.

Был разобран город и переправлен через океан.

Америка готовила для Европы цѣлыя новыя государства из бетона и металла, кран их разбирал, поднимал, переносил.

В Азіи транспортным постройкам помѣшали Гиммалаи..... Никто и не подумал о туннелях: краном приподняли весь горный кряж и низвергли его в индійскія болота.

Кран все это перенес, осилил.

Конечно, не даром. У него были свои стоны, заглушавшіе рыданіе океанов в непогоду.

Напряженный металл крана грѣлся, горѣл, преображался. Весь кран слился, спаялся, нашел в себѣ новую каленую металлическую кровь, стал единым чудовищем..... с глазами, с сердцем, с душой и помыслами.

Он дружески заразил своими желѣзными думами милліоны строителей-работников.

И кран и человѣческій милліон небывало, невиданно задерзили.

Мятежи мысли загуляли по землѣ.

Что нам затонувшія суда, рухнувшіе віадуки, вокзалы, города и государства? Что гиганты-горы?

Мы тронем..... землю.

Мы испробуем.

Мы испытаем!

Пусть несутся быстрѣе эти дни мучительнаго мірового нетерпѣнья. В разных концах земли мы все думаем-думаем за желѣзное дитя нашей планеты. Наша дума — удары, тоска и мученье — нажимы, подъемы и спуски.

Мы укрѣпим кран не на землѣ, а рядом с ней, магнитными токами укрѣпим его в эфирѣ.

И да! — мы исполним грезу первых мучеников мысли, загнанных пророков человѣческой силы, великих пѣвцов желѣза. Вавилонским строителям через сто вѣков мы кричим: снова дышут огнем и дымом

ваши порывы, желѣзный жертвенник поднят за небо, гордый идол работы снова бушует.

Мы сдвинем, мы сдвинем нашу родину-землю.

Эй вы, тихіе потребители жизни! Развѣ вы не видите, как неудобно посажена земля, как неловко ходит она по орбитѣ? Мы сдѣлаем ее безбоязненно-гордой, дадим увѣренность, пропитаемъ новой волей.

Так не пугайтесь же, непричастные к работѣ, чуждые стройкам, не пугайтесь наступающих жутких мгновеній.

Среди бѣлаго дня пройдут страшныя ночныя тѣни, рушатся храмы и музеи, раздвинутся горы, пронесутся непережитые ураганы, океаны пойдут на материки, солнце может показаться на сѣверѣ, мимо земли промчатся новыя свѣтила.

Может быть, для атеистов проснутся боги Эллады, великаны мысли залепечут дѣтскія молитвы, тысяча лучших поэтов бросится в море.....

Но пусть!

Мы сдѣлаем великую пробу созданной силы.

Земля застонет.

Она... зарыдает.

Пусть!

Риск мы берем на себя. Всѣм своим милліоном мы вѣрим в удачу.

Мы заранѣе ликуем и трубим.

И работу начнем уже с маршем побѣды.

Балки.

Говорят, что желѣзо бездушно, машина холодна и безстрастна.

Но послушайте,—что было со мной в эту ночь.

Я пришел в завод, как всегда, за десять минут до гудка. За пять минут я уже должен быть там наверху, на кранѣ.

Переодѣлся, вошел в будку и начал работать.

С одного конца завода на другой надо было перенести нѣсколько паровых котлов, десятка три строительных балок и пять платформ с бандажами.

В заводѣ пахло сыростью, было страшно неуютно, безпріютно, не совсѣм свѣтло, а, главное, весь он казался слишком чужим, жестоким.

Я уже включил контролер, чтобы пригнать кран к подъѣздному пути в завод, а мысль все кружилась в холодѣ жизни, гдѣ мрут голоса, гаснут улыбки, тонут рыданія. Двадцать лѣт как я уже не слѣзаю с будки и сверху смотрю на завод.

Внизу копошатся люди, грязные, пронизанные копотью, кашляющіе, сплошь больные ревматизмом. Многіе из них постоянно работают в сырых бетонных канавах и, кажется, готовят себѣ прочныя, просторныя могилы..... Я не слышу слов в низком гулѣ говора, который иногда несется из траншей.....

Но сегодня я услыхал голос только что поступившаго, но уже надорвавшагося рабочаго:

За что?

Я ясно слышал, как голос ударился о кованыя стропила, прозвучал по сводам и, не найдя дорогу к небу, разбился, разсыпался в прах.....

Тут же я увидал, как застыл взгляд того, кто спрашивал. Он сдѣлал угрожающій взгляд кверху, плюнул в свою собственную могилу и замолк. Похоронил свой порыв, вытравил душу. Он замолк навсегда.

Дальше я смутно помню, как таял говор, меркли огни, опускались своды.

— Товарищ, Товарищ!

Кричали бѣшено. Кричали сто голосов хором (на весь завод).

— Товарищ, очнись! Очни-сь.

В туманѣ летѣли видѣнья, голоса застилались непонятными туманами, кружилась голова.

— А-ну! А-ну! неслось снизу.

Я очнулся.

В правой рукѣ нестерпимая боль. Рука сжимала выключатель контролера и отекла от холода металла.

На кранѣ висѣл нагруженный вагон. Он стоял на высотѣ трех сажен над канавами и, видимо, наводил страх на товарищей. Всѣ бросили работать, всѣ смотрят ко мнѣ, вверх.

Я теперь ясно слышу, как они испуганно говорят, что весь мост прогнулся чуть не на пол-аршина, тормаз не держит, цѣпь скользит, проволочные канаты трещат. Наконец, кто-то увѣряет, что видит, как накренились верхнія рельсы под телѣжками, дрогнул завод, дребезжат окна...

Вагон падает...

— Моя рука уже держала контролер. Надо было одним движеніем передать мотору и внезапную поспѣшность работы и необходимую постепенность включенія...

Я начал...

Вагон дрогнул, чуть приподнялся еще выше...

Вдруг раздался треск, послышалось роковое вздрагиваніе тележек, запахло гарью, промчались полоски зеленых электрических вспышек.

Я весь готов к удару, катастрофѣ, но продолжаю тихо, послѣдовательно включать. Я весь в схваткѣ с надвигающимся ураганом огня и металла.

Товарищи замерли.

Тишина иногда бывает слышна, и я почувствовал, как онѣмѣл завод — и желѣзо и люди.

Товарищи смотрят на меня и на кран, и я во власти этих глаз, полных единаго желанія, мигающих одним общим тактом.

Я чувствую, что не оторвать руки от ключа контролера, и включаю, включаю...

Глаза товарищей мигнули тревожным перебоем, видимо, всѣ рискнули за меня, уже смотрят дальше, выше; и я, наконец, перевел на послѣднее положеніе.

Еще раз взрыв и фіолетовыя вспышки... и достиг! достиг!

Вспыхнул новый свѣт, весь завод залили свѣтовые бассейны.

И когда вагон при свѣтѣ верхних фонарей, как птица в свободном летѣ, понесся к дальнему краю завода,—весь завод вырос, встал легким воздушно-стальным миражем.

А всѣ люди послали ему одним и тѣм же жестом один привѣт, привѣт фонарям, камню и стали.

Мнѣ было радостно за завод, за этот рѣдкій праздник работы, за милую, близкую толпу товарищей.

Я как сейчас вижу,—товарищи внизу опасаются вмѣстѣ со мной, радуются побѣдам движенья, я слышу, как они называют мой кран „батюшкой“, а про завод всѣ вмѣстѣ сказали: „выдержит, голубчик!“

Они быстро угадывали движенія крана и, видимо, по их мускулам враз пробѣгал мгновенный ток опасности и радости.

Но не забыть мнѣ послѣдняго, когда кран подошел к самому концу рельс и даже слегка стукнул о конечную поперечную балку — побѣда! — вся толпа продвинулась вперед, улыбнулась одной улыбкой, выставила вперед свою грудь, казавшуюся великой и единой, и взмахнула руками.

Я невольно оглянулся вверх.

Завод стал еще свѣтлѣе, легче. Стропила раздвинулись. Желѣзная арка поднялась еще выше и стала тѣснить небо. Я расправил руки и вмѣстѣ с заводским простором, свѣтом и размахом почувствовал, как растет несокрушимым кряжем моя спина, все тѣло просит небывалаго взмаха, полета, а толпа внизу была пропитана такой желѣзной силой, что ея взгляд казался огненным.

Началась пѣсня, хоровая, неизвѣстная, новая, гимн, тревожный, как взрыв, и могучій, как гул чугунных колонн. Толпа двигалась с пѣсней по заводу, и нельзя было понять, гдѣ кончались напѣвы работников и начиналась металлическая дрожь великана-завода.

Завод превращался в свѣтлое чудо: мы заразили его говором и пѣньем, торжеством своим. И наша судьба стала судьбою желѣза.

Молот.

Вот ночь невиданная.

Рабочіе кварталы первый раз шумѣли так весело.

Во всѣх клубах, читальнях, союзах, всюду шли приготовленія к новогодней встрѣчѣ.

Тысяча рабочих поэтов готовили новые стихи и поэмы, оркестры разучивали новые танцевальные марши, летучій хор должен был на автомобилях объѣздить всѣ клубы и захватить молодыя рабочія массы побѣдным гимном.

„Лига пролетарской культуры" выбилась из сил, чтобы обставить свѣтом, музыкой и пѣніем всѣ залы рабочих районов.

Но главный замысел „Лиги" был не этот. Ровно в двѣнадцать часов ночи с одного из крейсеров дается залп из крупных орудій. Вечера и концерты на полусловѣ, на полутонѣ должны всюду в одно мгновеніе оборваться и к часу ночи чорныя толпы трогаются к „Рабочему Дворцу". Маршрут ко дворцу был обозначен по улицам красными свѣтовыми гирляндами, идущими со всѣх концов города. Горящія цвѣточныя красныя линіи шли по главным артеріям и у самаго дворца поднимались кверку на его отточенный гордый шпиль. Сам дворец утопал в непрестанных фонтанах ракет и их взрывах. Лавы людей сразу осѣнялись морем огненнаго водопада и бури, и уже не шли, а бѣжали к своему дворцу, ожидая чудес и небывалых ночных грез. Наверху, над зданіем дворца ракеты построили огненное сіяніе: над громадой домов подыма-

лись одна за другой огненныя птицы с расправленными крыльями и, достигнув отчаянных высот, разрывались на тысячи звѣзд и искр с призывным и радостным пѣніем. Когда рабочій город подойдет всей милліонной массой ко дворцу, игра огней и музыки превратит дворец в свѣтлый воздушный призрак... С крейсеров грянут новые безумные залпы. —Толпа входит во дворец с четырех сторон в радостных новых одеждах, с верхних хор ударят двадцать оркестров, и бурные танцы радости начнет весь многотысячный зал. Оркестры потом мгновенно оборвутся, танцы застынут, и по воздуху, поднимаясь в купола дворца, пройдут лучшіе ораторы всего свѣта, за ними поэты и музыканты, а потом зала опять утонет в новых радостных плясках. Пляски будут оборваны опять... Среди залы встанет привидѣніе: человѣк-великан, серьезный как прошлое, смѣлый как будущее и зашагает по праздничным толпам...

прямо к главному выходу...

прямо к востоку...

и скажет:

— Солнце взойди!

...Солнце взовьется и расплавит послѣднюю ночь стараго года...

***

В ночь свѣта, пѣнія, волшебнаго веселья я должен был пойти на работу в завод. Ни во дворцѣ ни в малых залах я быть не мог.

Весь путь к заводу по подземной дорогѣ я думал о сказочном дворцѣ.

Со станціи к заводу нѣкоторое разстояніе пришлось итти пѣшком.

Завод был темный, неосвѣщенный.

Только что я прошел шагов двадцать, как со мной начало твориться что-то неладное.

Завод стал пошаливать...

Корпуса были тѣ же, но они выстроились тяжелой мрачной толпой и шли на меня чорным наступленіем. Корпуса расли как гигантская скала в невѣдомом морѣ и неотступно грозили мнѣ, грозили задавить, уничтожить.

— Врешь! подумал я, не на таких напал. Я вѣдь был под твоими сводами... стучал. Я тебя понимаю, я тебѣ сродни.

И прибавил шагу.

Завод вырос до неба, крыл звѣзды и все шел на меня.

Наступала рѣшительная минута.

Колебаться,—значит погибнуть.

— Здорово! крикнул я в тот момент, когда стѣны корпусов уже насѣдали на меня.—Здорово же, дружище!

Открыл дверь, сразу включил штепсель и освѣтил входныя ворота.

Этап пройден.

Наскоро раздѣлся и тут же подумал, что в заводѣ тоже есть своя дьявольщина, желѣзное навожденіе.

Что-то очень недурное и забавно-громадное должно родиться под этими балками и трубами.

Двери распахнулись, и в теченіе пяти минут вошла вся ночная смѣна.

Нѣсколько моих милых пріятелей и сосѣдей по работѣ здорово смѣялись.

— А великолѣпная, знаешь, чертовщина лѣзет в голову, обратился один из них ко мнѣ.

— Да, по временам в этом ковчегѣ и жутко и любопытно.

Третій товарищ, мало еще мнѣ знакомый, счел долгом кинуть нам обоим:

— Уж если сходить с ума, ребята, так давайте всѣ вмѣстѣ.

— А, ну-ка, за работу. Авось эта дурь-то выйдет.

Двадцать горн мигом зажглись, двадцать фіолетовых огненных вѣеров взвились вдоль стѣны нашей кузницы.

Открыли цементировочныя ванны, и вмѣстѣ с гулом по заводу разлился шопот жидкой лавины. Как по командѣ вышла шеренга сварщиков. В бѣлых асбестовых костюмах они пролѣзли под старые котлы, раздались один за другим легкіе взрывы паяльных трубок, и громадная мастерская сразу потопила весь говор и смѣх.

В нашей кузницѣ все шло, как надо.

Но приходили из других отдѣленій новые товарищи, смотрѣли на часы, кратко перебрасывались фразами и показывали на дальнія механическія кузницы и котельныя мастерскія.

Чорт положительно не давал нам покоя...

Наконец, не выдержали и побросали работу.

Всей мастерской мы хлынули к громадным дверям дальних отдѣленій.

Отворили их. Слушаем.

— „Ше-ве-лит-ся"!.. прохрипѣл старик.

— Мм... пыхтит... испуганно отойдя от двери проговорил другой.

Но юркіе молодые ребята набрались храбрости и отмахнули обѣ двери.

Перед нами раскрылась черная пропасть неосвѣщенных мастерских, безлюдных и холодных.

Изрѣдка, как метеоры, пробѣгали искры и проносился нечеловѣческій вздох.

Как раз в это время послышались залпы с крейсеров.

Они было произвели впечатлѣніе...

— Пустяк.

— Хорош пустяк... девятидюймовый...

И черныя мастерскія опять съѣдали наше впечатлѣніе.

Там начиналась возня.

Мелькнула тѣнь.

Вырвались искры.

Необъяснимая ночная жуть во всем воздухѣ. Но оторваться мы были не в силах. Тут было нѣчто очень наше, очень родное.

— Сейчас будет что-то скандально-интересное.

Товарищ не успѣл докончить фразы,—дверь механической печи открылась, вырвались огненным градом искры, и из печи быстро выплыло огненное чудовище, на которое нельзя было смотрѣть, но которое наполнило завод озером свѣта.

Спустился кран и безудержно поволок двадцатисаженную огненную колонну к станинам молота, стоявшаго в заводѣ без движенія цѣлое десятилѣтіе.

Почти никто на заводѣ не знал ударов этого молота.

Колонна грузно рухнула на наковальню. Молот так зашипѣл, что, казалось, звук этого шопота идет отовсюду: со стѣн, с высоких желѣзных крыш, из подземелья, гдѣ шли друг на друга маховики машин, и из дальних мастерских, разбуженных ночной возней.

Успѣли лишь включить электричество, быстро два раза прогудѣл свисток при молотѣ, и стальная громада неистово бацнула раскаленную колонну.

Пол затрясся, сверху сорвались сразу нѣсколько десятков фонарей и вдребезги разбились, за ними рухнули верхнія стекла крыши, стропила хряснули, и казалось, сейчас раздадутся и задавят весь завод, по мостовым балкам пошел гул, как от дюжины промчавшихся поѣздов, каменная кузнечная пристройка к заводу дала трещину и толпа подалась в ожиданіи катастрофы.

Всѣ ждали, что будет с заводом. Но молот послѣ маленькой паузы грохнул опять, грохнул и сатанински зачастил своими ударами.

Завод подавался и наполнялся желѣзным буйством.

Люди от этого грома должны или перепугаться на смерть, погибнуть, или уж вырасти как никогда...

Не умер, однако, никто.

Через пять минут уже позабыли о разбитых фонарях и об обвалах.

Казалось уже наоборот: если бы из души отнять этот гром, то надо его снова родить, родить во что бы то ни стало.

Молотовой гром становился сильнѣе. Колонна, хотя и медленно, но стыла; удары шли все жестче и трясли мощнѣе.

Кран грузно переворачивал колонну и подсовывал под молот, молот обрывался и судорожно бил своей громадой лежащаго краснаго великана.

А завод начал наполняться новой толпой.

Из города пришли с тревогой, с жалобой, с ужасом...

Пострадали десять окрестных кварталов. Всюду были выбиты окна от сотрясенія земли и воздуха.

В „Рабочем Дворцѣ" рухнул потолок и, хоть никого не убил, но надѣлал не мало несчастій.

Толпа входила и заполняла заводскія мастерскія. На минуту казалось, что собираются тысячи, чтобы притянуть к отвѣту страшнаго ночного стального колдуна.

Когда колонна была прокована и кран отнес ее в приготовленное ложе, из толпы вырвался настойчивый крик: „Да объясните же"!

Крик был подхвачен...

На станину молота по лѣстницѣ моментально поднялся один из наших, в синей блузѣ, и уже поднял руку для жеста, как его перебили.

— Имя, фамилія! Откуда?

Перебили и сами замерли, ждут отвѣта.

— Строительный слесарь я... Фамилія моя Васильев. У нас на заводѣ Васильевых триста двадцать пять... Я—один из них...

— По существу говори!

— Начинаю по существу. Этот молот, на котором я стою—одна из лучших трибун всего свѣта. Я вам объясню,—слушайте.

— Десять лѣт тому назад этот молот прибыл к нам на завод. От вокзала до завода было тогда версты четыре по разным улицам и переулкам. Нашей желѣзнодорожной вѣтки тогда еще не было. Надо было молот двигать с дубинушкой. Вот эту станину мы двигали

три мѣсяца днем и ночью. Цѣлое лѣто мы не давали спать нѣскольким кварталам. Припѣвы к „Дубинушкѣ“ были не особенно приличные, и вся знать из нашего района перебралась из-за этого на дачи...

Устанавливали и собирали молот два мѣсяца.

Мы его испробовали.

Он ударил один раз, разбудил всѣх спящих, выбил окна в домах и повалил колокольню.

Нам больше не дали ковать...

Но знаете,—время пришло.

Пришло время торжества.

Вот первая колонна нашего зданія.

Эта колонна будет всажена в землю. Надо еще отковать двадцать таких колонн. В глубинах онѣ будут опираться на бетоны. На колоннах выростет непотрясаемое зданіе... Для него не будут страшны не только удары: зданіе не будет разрушено даже землетрясеніем...

— Что за зданіе, чорт возьми? не утерпѣли в толпѣ.

— Зданіе наше. Рабочій Дворец.

— Но вы же вашим чортом-молотом разбили потолок нашего дворца. .

— Чудаки. Вы ошиблись, вы поторопились. Рабочій Дворец—вот он, вот этот великан-завод.

— Но вот что: я слово передаю... ему, вот этому оратору.

Он дружески похлопал рукой по станинѣ молота и быстро спрыгнул по лѣстницѣ в толпу.

Жерло печи открылось, как занавѣс... Печь изрыгнула новую раскаленную добѣла колонну. Подхваченная краном она поплыла по заводу, затопив его градом искр и сразу накалив его воздух.

Кран положил колонну на наковальню и молот опять начал тѣшиться своими лязгами и ударами.

Первые клокоты кончились.

Сейчас разразятся новые удары.

И люди насторожились. Весь завод заковала тишина, у всѣх замерло сердце...

Молот срывался, и у всѣх освобождался вздох.

Молот выпускал лишній пар, и всѣ мы через радостные перебои сердца отдавали жадно захваченный воздух.

Был момент, когда колонна чуть было не рухнула: мы знали, что пожар всего зданія был бы неминуем, мы тогда ничего не видѣли, кромѣ молота. За него, за его желѣзные замыслы мы думали, за его удары чувствовали, мы с ним вмѣстѣ вѣрили, вмѣстѣ с его тревожным дрожаньем мы надѣялись. И когда перед ударами вызывающе блестѣли его цилиндры, казалось,—весь завод пронизывался новой металлической волей и среди желѣзных громад и над человѣческой толпой молот рос, угрожал, строил замыслы... Молот все передумал, он все разсчитал, он... перемучился за свои удары.

Перемучился и... ринулся.

От размѣреннаго удара он перешел к рокоту, удары догоняли друг друга и перешли в непрерывный гром.

Завод как будто тронулся...

Толпа встала в торжественныя шеренги.

Отряд молодых женщин вышел вперед с зелеными хвоями и разбросал их кругом по заводу. Дѣти поднялись на балки и стропила и закружились воздушными хороводами. Горны подняли огненные вѣера на сажень кверху и пріоткрыли невиданные театры, по рельсам въѣхали в завод, задыхаясь, локомобили и паровозы, остановились как вкопаные и своими гудками грянули гимн, который был слышен за десять верст.

Вся черная громада, вся тысяча тысяч подняла руки кверху и кричала наперебой:—поэта, поэта нашему оратору!

Быстро спустился кран.

Перевернул колонну.

Она забрызгала раскаленным металлом.

В заводѣ бушевал новый день...

Молот замолк.

А крейсера открыли новую безпримѣрную пальбу.

„Мы посягнули“.

Кончено! Довольно с нас пѣсен благочестія. Смѣло поднимем свой занавѣс. И пусть играет наша музыка.

Шеренги и толпы станков, подземные клокоты огненной печи, под'емы и спуски нагруженных кранов, дыханье прокованных крѣпких цилиндров, рокоты газовых взрывов и мощь молчаливая пресса, вот наши пѣсни, религія, музыка.

Нам когда-то дали вмѣсто хлѣба молот и заставили работать. Нас мучили... Но, сжимая молот, мы назвали его другом, каждый удар прибавлял нам в мускулы желѣзо, энергія стали проникала в душу, и мы, когда-то рабы, теперь посягнули на мір.

Мы не будем рваться в эти жалкія выси, которыя зовутся небом. Небо—созданіе праздных, лежачих, лѣнивых и робких людей.

Ринемтесь вниз!

Вмѣстѣ с огнем и металлом и газом, и паром нароем шахт, пробурим величайшіе в мірѣ туннели, взрывами газа ,опустошим в нѣдрах земли непробитыя страшныя толщи. О, мы уйдем, мы зароемся в глуби, прорѣжем их тысячью стальных линій, мы освѣтим и обнажим подземныя пропасти каскадами свѣта и наполним их ревом металла. На многіе годы уйдем от неба, от солнца, мерцанія звѣзд, сольемся с землей: она в нас и мы в ней.

Мы войдем в землю тысячами, мы войдем туда милліонами, мы войдем океаном людей! Но оттуда не выйдем, не выйдем уже никогда... Мы погибнем, мы схороним себя в ненасытном бѣгѣ и трудовом ударѣ.

Землею рожденные, мы в нее возвратимся, как сказано древним, но земля преобразится: запертая со всѣх сторон—без входов и выходов!—она будет полна несмолкаемой бури труда; кругом закованный сталью земной шар будет котлом вселенной, и когда, в изступленіи трудового порыва, земля не выдержит и разорвет стальную броню, она родит новых существ, имя которым уже не будет человѣк.

Новорожденные не замѣтят маленькаго низкаго неба, потерявшагося во взрывѣ их рожденія, и сразу двинут всю землю на новую орбиту, перемѣшают карту солнц и планет, создадут новые этажи над мірами.

Сам мір будет новой машиной, гдѣ космос впервые найдет свое собственное сердце, свое біенье.

Он несется...

Кто остановит пламя тысячи печей-солнц? кто ослабит напор и взрывы раскаленных атмосфер? кто умѣрит быстроту маховиков-сатурнов?

Планеты бѣшено крутятся на своих осях, как моторные якоря-гиганты. Их бѣг не прервать, их огненныя искры не залить!

Космос несется...

Он не может стоять, он родится и умирает и снова родится, растет, болѣет и опять воскресает и гонится дальше...

Он достигает, он торжествует!...

— Упал, упал!

Тонет... Отчаялся...

Но огонь плавит все, даже тоску, даже сомнѣніе, даже невѣріе.

И снова жизнь, клокотанье, работа!

Будет время,—одним нажимом мы оборвем работу во всем мірѣ, усмирим машины. Вселенная наполнится

тогда радостным эхом труда, и неизвѣстно гдѣ рожденные аккорды зазвучат еще о больших, незримо и немыслимо далеких горизонтах.

И в эту минуту, когда, холодѣя, будут отдыхать от стального бѣга машины, мы всѣм міровым милліардом еще раз, не то божески, не то демонски, еще сильнѣе, еще безумнѣе посягнем!

~~~
~~~

„Мы вмѣстѣ“.

Я живу в самом лучшем городѣ міра. Работаю в самом большом знаменитом заводѣ. Но утром, когда я ѣду воздушной дорогой с одной окраины города на другую, я вижу над этим городом еще большіе города, а в городах бушуют и ревут невиданные фабрики и заводы.

Чьи они? Эти города, машины, желѣзныя пути и поднебесныя постройки?.

Я не могу прочесть издалека ни одной вывѣски, но из поѣзда видно, как мои товарищи, одѣтые в голубое, бѣлое, коричневое, работают тысячами около тысяч машин, верстаков, тисков и сооруженій.

А в сторонѣ, гдѣ шумит город-проспект наших владѣльцев, все играют, все играют, все кутят.

Они играют и проигрывают милліоны.

Мы ѣдем по мосту, пересѣкая проспект.

И из вагона цѣлой толпой кричим им в заплывшія лица:

„Продолжайте, господа!“

Они гордятся и говорят друг другу рѣчи, пишут стихи и поют хвалебные дифирамбы. И все про то, что эти заводы, горы угля, дороги, это все—их, это принадлежит им... Они ликуют от радости.

А мы опять:

— „Продолжайте, господа!“

Наш поѣзд мчится. Нам хочется еще быстрѣе рвануться вмѣстѣ с ним к заводам.

Мы входим. И первый наш привѣт, первый радостный салют—им, нашим друзьям, свѣтлым машинам.

Онѣ улыбнулись, вздрогнули. Крикнул гудок и начался вихрь работы.

Завод все расходился, расправляся, собирал силы, в работу входили новые станки и люди, входили и солисты и хористы, поднимали все выше, все настойчивѣе желѣзную браваду завода. Грянула пѣсня и помчалась в выси.

Кажется, что завод уже невѣсомый, он легкій, он бѣгущее привидѣнье, оторвался от земли, несется от горизонта к горизонту и все, что есть на пути—тоскующія поля, тихія селенья, молчащіе города, все разит, все разносит и колет, наполняет спящія равнины канонадой молота и мотора, заставляет перекликаться вѣчно-нѣмыя горы, заливает пропасти озерами свѣта и, весь полный своей стальной непобѣдимой гордыней, угрожает стихіям земным... небесным... міровым, и трудно понять, гдѣ машина, гдѣ человѣк. Мы слились со своими желѣзными товарищами, мы с ними спѣлись, мы вмѣстѣ создали новую душу движенья, гдѣ работник и станок неразрывны.

И уж если наступает, то желѣзо, орудія с нами.

Несутся потоки, мчатся ураганы стального движенья, увѣренно бьются за будущее и рождают непобѣдимые замахи и все растут, все растут.

И вдруг завод на минуту замолчал, замер, и мы, работники, встали перед ним нашей человѣческой толпой и крикнули громадѣ застывшаго металла:

— „Гдѣ ты? Ты с кѣм?“

Мы кричали внизу, а эхо нашего голоса загуляло вверху металлическим гулом; человѣческія слова родили желѣзную пѣсню, заставлявшую дрожать людей и лишь только опустились и растаяли гулы, как снова поднялся и взвился к небу стальной хоровод станков; ближе к землѣ завод гремѣл неслыханными обвалами жизни, а вверху дерзкіе штормы машин отбивали свой рѣшительный ритм:

— Мы с вами, мы с зами!...

— Без слов, без звуков, только в душѣ, мы в послѣдній раз вспомнили тѣх, что пируют на проспектах, и, вмѣсто злобных проклятій, с улыбкой кинули в сторону:

„Так продолжайте же господа!“

Желѣзные пульсы.

I.

Двадцатаго іюля тринадцатаго года во всѣх петроградских газетах опубликованы были предполагаемые дивиденды акціонернаго общества „Двигатель“. Разсчитанные наполовину из чистой прибыли, они достигали двадцати.

На биржѣ началась вакханалія. Спекулянты распространили слухи, что основной капитал доводится до десяти милліонов, количество акцій утраивается, во главѣ предпріятія встает „Ліонскій Кредит“, рынок „Двигателя“ достиг Англіи, вторгается в Америку... Размах „Двигателя“ становится міровым.

Толпы акціонеров каждый день являлись в мастерскія „Двигателя“. Весь іюль завод работал без перерыва день и ночь. День и ночь рысаки и автомобили подвозили акціонеров.

Операціи на станках сократились, оставались только заключительныя сборочныя и установочныя работы. Завод почти готов.

Биржа подогрѣвалась все больше и больше. Наконец, в тот день, когда главный владѣлец „Двигателя“ Фельдман закупил двадцать тысяч акцій и онѣ бѣшено рванулись вверх,—завод получил новый десятимилліонный заказ.

По городу побѣжали слухи о том, что Нобель со всѣми своими заводами сливается с „Двигателем“ и „Двигатель“ превращается в трест.

И вдруг завод стал.

Послѣ собраній в союзѣ металлистов на Большой Пушкарской, гдѣ были выяснены блестящія дѣла „Двигателя“, рабочіе предъявили требованіе увеличенія цеховой платы на 20% и штучной на 10%.

Акціи начали горѣть.

Требовались мѣры экстренныя, рѣшительныя, героическія.

Нужно было сломить забастовку во что бы то ни стало. Иначе акціи в будущем станут прыгать вниз от всякаго нелѣпаго слуха.

На экстренном собраніи Правленія, состоявшемся в день объявленія забастовки, представители банка, вложившіе большіе капиталы в предпріятіе, указали, что пріостановлен выпуск банкнот. Большинство Правленія заколебалось. Кто-то заговорил:

— Надо потолковать с рабочими. Может быть, вѣдь просто недоразумѣніе.

— Именно—не говорить с ними; это вопрос чести, кинул голос с секретарскаго стола.

— Да—да, оборвал его Фельдман, но вѣдь не забывайте, что наш рабочій класс—еще стихія. Фраза оратора,—и он бросает мастерскія.

С испуганным, растерянным лицом поднимается директор.

— Господа, положеніе очень... отвѣтственное, начал он, держа в руках какіе-то документы. Неустойка новаго заказа опредѣляется в два милліона. Это вѣдь не казенный заказ, а частный. Тут комбинаціи невозможны. Мы между милліонной прибылью и... скамьей подсудимых...

Он оборвал, как будто лишился голоса.

Казалось,—пауза будет тянуться безконечно.

Тишина... гробовая...

Стало темнѣе в залѣ. Замигали электрическія лампы, задрожали люстры.

— Прошу полномочій!—сухо и громко, как выстрѣл, прозвучила фраза.

Среди сконфуженных, растерянных, потерявших голову дѣльцов стоял поднявшійся с своего кресла инженер Григорьев, затянутый на всѣ пугавицы чернаго сюртука.

Послѣ рѣчи директора эта фраза могла быть или величайшей добродѣтелью или величайшей подлостью.

Правленцев пронзила одна общая догадка: вышел гнусный временщик, новый террорист биржи.

И всѣм казалось, что прокурор с своим портфелем уже идет, что он вот-вот вѣжливо, но спѣшно постучит в двери зала.

— Говорю с сознаніем серьезности момента, еще спокойнѣе, но увѣреннѣе говорил он.

— Что вы предлагаете? приподнялся боязливо директор Правленія.

Григорьев брал всѣх их в руки:

— Я предлагаю вам конфликт ликвидировать в недѣлю.

— На уступки?—набросились на него со всѣх сторон правленцы.

— Нѣт—нѣт! не измѣняя тона и не мигая говорил Григорьев. Я завтра пускаю завод вхолостую. Акціонеры будут видѣть, что завод идет. Мы спасем положеніе. Конечно, тут необходимы еще финансовыя комбинаціи—намекал он на спекуляцію с бумагами. Мы дадим гудки, заведем топки, пустим моторы и трансмиссіи. Мы покажем дым. А вы знаете, что наши трубы видны с Невскаго, Дворцовой набережной и даже с Морской.

Директор начал рыться в бумагах и что-то отмѣчать в записной книжкѣ, но Григорьев впился в него, как будто одному ему говорил, и руки директора застывали.

— Сегодня же в ночь, уже как будто о рѣшенном дѣлѣ, говорил Григорьев—сегодня же в ночь я телеграфирую в Харьков о присылкѣ ста слесарей-бельгійцев. Это люди, законтрактованные фирмой Гутланда, того

самаго Гутланда, который давал людей Сименсу во время забастовки. Теперь он даст их нам. И сегодня же ночью я телеграфирую в Козлов инженеру Беклемишеву о присылкѣ артели клепальщиков. Вы увидите, что через недѣлю к нам повалят забастовщики, и мы же будем их цѣдить.

— А вѣдь это он в прошлом году справился с забастовкой у „Освѣтителя", прошептал директор представителю банка.

— Да, как будто..., разсѣянно отвѣчал банкир.

А Григорьев говорил:

— Я предлагаю вам ва-банк. Других средств нѣт. Надо дѣйствовать быстро, вот сегодня, вот в эту ночь, вот сію минуту.

— Ну, что вы скажете? спрашивал шопотом директор банкира.

— Я его не разгадаю. Он в маскѣ. Тут, простите, не игра-ли?

— Это в вас говорит профессія. Вам всѣ кажутся спекулянтами.

— Нѣкоторые мнѣ кажутся просто... наглецами.

— Да что вы?.... хотѣл было возразить ему директор. Но Григорьев кончил свое слово.

Директор позвонил.

Назначен был перерыв. И с первых фраз, которыя срывались у правленцев в буфетѣ за завтраком, стало ясно, что предложеніе Григорьева будет принято.

II.

Завод был пущен в ту же ночь. Очнулись застывшія трубы. Черные фонтаны дыма устремились к небу. Поднявшійся вѣтер погнал их всѣ вмѣстѣ и черная лавина, закутывая звѣзды, тяжело и мѣрно прокладывает в высях дорогу и заставляет жаться ближе к землѣ рабочія окраины города.

*

Сам завод, пока еще застывшій и нѣмой, спит, как мертвец с потухшими, вытравленными глазами.

По шоссе ходят группами и в одиночку тѣни. Дымящійся завод для них загадка. Он их волнует. Волнует по разному, но тревожно, загадочно.

И вдруг, как сигнал в ночном морѣ, вспыхивают в одно мгновенье окна, лучи водопадом ворвались в улицы. Завод пошел.

Загудѣла земля, задрожали корпуса, окна замигали, и в заводѣ поднялся стальной вихрь машиннаго движенія.

Безпокойно ходившія фигуры на шоссе остановились, оцѣпенѣли. Один кинул догадку, отпустил остроту. Маленькія группы слились в большія. Всклокоченная фигура отдѣлилась от толпы и направилась к воротам. Ворота отворились. Сторожа засуетились.

Завод не говорит с толпой, толпа с ним не спорит, но началось состязаніе. На той сторонѣ только камень, желѣзо, свѣт.—Здѣсь люди. Но кажется, что у корпусов есть зовущая душа, есть сердце, которое злит и волнует. Глаза этой каменной глыбы—окна. В них есть нечеловѣческая сила взгляда. Он не зовет, не манит, он приказывает, повелѣвает.

— Товарищи, марш от завода по домам, по чайным! В лѣс!

Это—удар по сердцу толпы, толпы живой, человѣческой.

Однако, в душѣ у каждаго шевелится безпокойный бѣс. Надо его убить, надо его изгнать.

Забѣгали по шоссе. Группа убѣжала в чайную писать корреспонденцію. В лѣсу уже собрался стачечный комитет. Молодежь расположилась пикетами по углам кварталов.

А завод разошелся во всю. Он бѣшено пляшет свои желѣзные танцы. Он заразил весь квартал металлическим ревом и шопотом. И есть призывная страсть в этом водоворотѣ огня и машины.

— Там люди! кричит женщина с ребенком.

Она и вѣрит и не вѣрит своим словам... Ей просто хочется туда, к заводу. Ее терзает, дразнит стальная погоня колес, которую она узнает по окнам и чувствует по землѣ. Ей хочется ѣсть, и в желѣзном гомонѣ завода ей чудится соблазн работы, хлѣба.

— Он работает вхолостую,—отвѣчает ей сосѣд, хотя у него тоже есть какія-то сомнѣнія и думы, и он сам впился в освѣщенныя окна.

— А это кто крадется сзади?

— Да никого нѣт. Тебѣ, брат, уж кажется. Перекрестись,—пройдет.

— Что там за рвань разговаривает со сторожем?

Освѣщенный завод—магнит.

Он тянет. По воздуху расползлись невидимыя щупальцы. Онѣ надоѣдливо опутывают тѣх, кто стоит один, кто не говорит, не перекликается.

И, как ночныя бабочки, то один, то другой бѣгут на огонь.

Прошла пара напившихся масленщиков.

Женщина кралась из-за лѣса к сторожу при задних воротах.

Группа слесарей пошла „только навѣдаться", только разузнать.

Но ворота распахнулись и захлопнулись, и они там.

Стачечный комитет напрягает всѣ силы, но бросается из стороны в сторону.

Сначала думали, что надо вытти всѣм на шоссе. И пусть тогда каждый штрейкбрехер проходит, пронизанный тысячью глаз. Многіе нерѣшительные дрогнут от этих взглядов. Но оказалось, что в то время, когда толпа была большой и сомкнутой, ни одного человѣка не проходило, но зато потом в разсыпанных кучках нельзя было услѣдить за юркими молодцами, и они под прикрытіем тысячи незамѣтно шли.

Тогда сразу тактику измѣнили, постановили совсѣм не ходить къ заводу массами. Но и тут опять неожи-

данность: одиночки, пробиравшіяся под видом развѣдчиков, часто проходили въ завод и оставались там.

Даже люди выдержанные не понимали, что творится с ними.

Стоящіе по-одиночкѣ чувствуют, как сердце, человѣческое сердце, теряет свой такт, его біенье тонится въ желѣзном ходѣ завода, завод покоряет, наполняет тѣло дрожью своей стальной работы, останавливает мысль, и все человѣческое чувство покорено, взято въ плѣн приступом желѣзнаго волненья корпусов.

Кажется, вот-вот из-под завода встанет незнакомый, но властный агитатор и желѣзным голосом скажет:

„Идите же! Вы уже в пути, вы уже на полдорогѣ, вы скованы по рукам и ногам".

Идите...

Быстрѣй!"...

Агитатор вынет громадный магнит и сначала по одиночкѣ, а потом массами притянет всѣх, кто стоит на шоссе.

— Эй вы!—кричит громко в толпѣ подмастерье.

— Вот сами же гнали съ завода, сами и пошли.

Остановившись, переведя дух и, видя молчащую растерянную кучку, он уже смѣло кричал:

— Кто же пошел? А вот, тѣ самые, которые кричали, ораторствовали.

И твердым шагом он направился къ воротам завода.

III.

Днем уже все разузнали. Всѣ станки стоят. Идут только трансмиссіи. Работать надо только слесарям и клепальщикам. Слесарей пришло всего двое. Пятьдесят чернорабочих были отосланы обратно.

По шоссе, в чайныхъ, в паркѣ смѣются.

Однако, поздно вечером пронесся слух, что ѣдут штрейкбрехеры. Сотня иностранцев и человѣк двадцать русских клепальщиков.

— Врань! Это—штуки!

— Я от мастера узнал.

— Нашел кого слушать. На пушку это.

На третій день пріѣхали тѣ, которых ждали.

Иностранцы шли рано утром в завод по-одиночкѣ.

— Кто вы такіе?

— Мы механики-инструктора.

— Ну да, вы просто прогуляться пріѣхали...

— Мы только будем дѣлать пробы моторов. Мы от заказчика.

Они лгали и им не вѣрили, но они так чисто были одѣты, их лица были такія неродныя, что трудно было крикнуть им „измѣнники" или избить.

Клепальщики из Козлова прямо с Николаевскаго вокзала прошли пѣшком. Плотной группой они прошмыгнули в Завод.

— Откуда вы?

— А тебѣ на што?

— Смотри, мы покажем.

— А я не казавши так те ахну, что родную мать не узнаешь.

Затворилась дверь и хлопнула защелка.

В толпѣ загуляли слухи. Их—сто. Они быстры, как молнія. Есть злыя, как змѣи, есть гадкія как жабы. И всѣ они вѣнчаются одной сногсшибательной сплетней:

— В завод прошел Дмитріев, главный наш крикун-оратор.

— Не вѣрьте, не вѣрьте. Это сторожа звонят.

— Чего? Да его видѣли. Сидит с мастерами в конторѣ.

— Товарищи! Здѣсь я, вот глядите, собственной персоной! кричит Дмитріев.

Но напившійся вдрызг токарь кричит:

— Дыма без огня не бывает. Разѣ нынче народ, нынче падаль.

— Гони, гони его! Куда он прет? Вали его в канаву. Он инженера ловит.

— Как ты произносишь? Ловлю? Он меня сам ловит, да я скользкій, как гольян, не даюсь.

А по той сторонѣ шоссе, за канавой прошла в завод группа, человѣк в тридцать забастовщиков. Они шли напролом. Они шли работать.

На шоссе показался пристав.

IV.

— Вот это жест! — думал Григорьев, восхищаясь сам собой, когда мчался по Литейному в Совѣт Съѣздов.

Там сегодня в честь Григорьева банкет.

Льют бархатный матовый свѣт стильные фонари подъѣзда. Плавно поднимаются и опускаются лифты. Дамскіе духи рвутся на улицу и заполняют квартал. Хор автомобилей клокочет как прелюдія к музыкѣ акцій и дивидендов. Трамваи на Литейном замѣтно замедляли движеніе, направляя говор улицы только к одному дому Совѣта Съѣздов. Казалось, что по городу всюду шел перезвон и звонили только о золотѣ, о прибыли, о силѣ, о талантѣ Григорьева.

И когда вся улица проникласъ этим торжественным переливом волненія и звука, потолки залы вспыхнули небывалой бѣлизной и яркостью, улица присмирѣла и из окон сразу, без настраиванія хлынула на улицу стремительная буря оркестра. Гремѣла новая симфонія „Гимн индустріи“.

Это было воплощеніе мірового промышленнаго рокота под едва замѣтный аккомпанимент контрабасов, дававших иллюзію непрерывной работы мотора. Мотор то низко, настойчиво и терпѣливо отсчитывал свои удары и оркестр принижал свои желѣзныя бравады, точно внизу под землею тысячи титанов-машин бурят

неимовѣрныя толщи; то вдруг моторы подымутся кверху и там за облаками высоко поют свою пѣсню самозабвенія, а оркестр, это—ликующее человѣчество, вырвавшееся из подземелья и смѣло пославшее машины в небо, к планетам, звѣздам и млечным путям. Казалось, что люди рвутся от земли, она тѣсна, она вся уже взята молотом и машиной.

Ликованія оркестра перешли в крик и трепет тучи аэропланов, звуки уже плыли не в залѣ, а в незримых высях, сам оркестр потерялся для зрителя, и вот тогда-то на открытую эстраду вышла знаменитая итальянка Элиза Верньяньини и в воздухѣ исполнила балет: „Греза аэро“. Это был танец в полетѣ. Элиза начинала земными плясками с земною женскою страстью. Блиставшая жемчугами и золотом, она срывала свои одежды, поражая залу стихійной изступленностью, обнажилась и, пережив все, что дѣлает людей счастливыми внизу, ринулась в воздух, закружилась, плыла по небу, разбивала облака, осмѣивала и развѣнчивала высочайшія горы земли и созданія и, улыбнувшись в послѣдній раз океанам, ушла далеко от земли и потерялась, вся воздушная и шумная, невѣсомая и быстрая и оттуда с высот неземных и ненебесных звала смотрящія на нее толпы, города и міры.

Зала не выдержала. Полетѣли цвѣты, котелки, наполненные золотом, брилліанты.

Сверху спустился букет цвѣтов в полурост Элизы. Она его поймала налету, откланялась, потом спрыгнула вмѣстѣ с ним с высоты и на глазах тысячи гостей передала Григорьеву.

Загремѣли апплодисменты. Это была овація Элизѣ, но через минуту публика уже ее забыла и хлопки выросли в манифестацію Григорьеву.

Зал поднялся, позабыл симфонію, Элизу, ея заоблачные танцы.

Зал кричал и хлопал ему одному, кумиру дивиденда, золота.

А Григорьев стоял спокойный и холодный, как черная статуя. Элиза, шумная и радостная, наслаждаясь его закаленной силой, спрашивала: „Неужели и теперь вы не потрясены“?

Григорьев отвѣтил:

— Да я и теперь вот думаю... вовсе не об этой залѣ и, простите, не о ваших танцах, а о том, что за завод можно быть совершенно покойным и, экономія— наш девиз,—я, пожалуй, распоряжусь выключить моторы.

— Как? Моторы? Как это у вас хорошо звучит.

— Я их выключу. Они теперь лишни. Народ есть и всѣ знают, что я сломил забастовку.

— Вы милы в своем хладнокровіи. Я вспоминаю физику, жеманничала она, помнится, там что-то есть такое, что во льдѣ... она взглянула восторженно на Григорьева... во льдѣ есть скрытая теплота.

И Элиза с Григорьевым быстро пошли из зала. Они направились к телефону.

V

Завод ревѣл, бушевал и бился. Стальной, расчитанный топот на мѣстѣ рвал с потолков и стѣн кронштейны. А они, как руки силача, отвѣчали машинному реву одним застывшим желѣзным жестом, настраивали завод кованой дисциплиной, заставляли и стѣны и окна пѣть и вторить металлическим пѣсням завода. В заводѣ загулял демон желѣзнаго мятежа и все крутил, все, вертѣл, все грыз и ковал, и калил, и опять охлаждал и снова грѣл, и все немолчно, все с грохотом и гулом, все с лязгом и огненным трепетом создавал, возводил груды за грудами, горы за горами прибыли и дивиденда.

Здѣсь, гдѣ работают слесаря и клепальщики по сборкѣ, завод—свѣтлый, бѣлый, почти денной; там в станочных отдѣленіях он—полутемный и безлюдный, но там не страшно, там никто не подстерегает, там завод

не мертвый, он говорит, шумит и манит. Оттуда, из станочных мастерских в открытыя внутреннія ворота, как из рупора, несется желѣзный прибой; там дальше еще есть двери, их затворяют и отворяют и из рупора с шумом вырываются волна за волной, одна другую гонят, стремительно мчатся на рабочих и кружат их души в стальном механическом вихрѣ. Вихрь захватил, закрутил людей. Ему безразлично, кто стоит в заводѣ, у тисков, у наковальни, у мѣхов,—желтый или красный, или даже черный, он всѣх их пропитал трудовым задором, всѣх зовет к стуку, напряженью, работѣ. У людей в руках или ручник или молот, или клещи, или пила, но кромѣ молота в рукѣ есть желѣзное безпокойство, бѣс работы, и работники бьют, бьют и бьют. Они пилят, куют и в погонѣ работы—как будто боятся пропустить удар, чтобы не нарушить такта, чтобы не разстроить хора. Есть душа в этих холодных машинах, душа в бѣгущих трансмиссіях, в стонущих окнах, в клокотѣ и шипѣньи горн, в лязгѣ ударов и душа цѣльна и гармонична, и живых людей и мертвое желѣзо, она все, все включила в неразрывную шумную кавалькаду работы.

И люди работают и гонятся в своем трудѣ под шумные отзвуки идущаго завода.

Штрейхбрехеры в угарѣ. Кому, как не им, знать силу заводскаго движенья; они не вѣрят в кислыя рѣчи о солидарности и повинуются в работѣ только одному желѣзному пульсу—машинѣ, вѣрят только одной дисциплинѣ—стихіи работы.

Слесарям и клепальщикам хочется даже перегнать этот пульс завода, надо бѣжать еще сильнѣе, надо утонуть в этом морѣ грохота, утонуть с головой, душой и помыслами и только скорѣе кончить, только скорѣе разстаться с такой работой, всегда рискованной, всегда опасной. И они бѣгут-работают еще сильнѣе и сильнѣе.

— Ну как? спрашивал по телефону мастера Григорьев.

— Как нельзя лучше!—отвѣчал мастер. У нас и в нормальное время никогда так не шла работа.

Ему еще что-то сказал Григорьев и мастер, сіяющій, уходил от телефона в конторку. Он посматривал из окна конторки на работающих и, видя, как пляшет у них в руках работа, не мог сидѣть от волненія и начинал возбужденно ходить взад и вперед по конторкѣ.

А штрейхбрехеры работали как на показательной выставкѣ.

Штучники-слесаря у тисков доводили каленыя части, раскладывали их по верстаку готовыми стопками. Стопки росли, мастера их уносили, а слесаря потѣли и все гнались друг за другом. Им уже считается полуторная плата. Кто дойдет до нормы, будет получать двойное. В мастерских можно говорить, но разговора нѣт, им некогда. Даже для куренья и то они не дѣлают перерыва. Вспыхивает зажигалка или спичка, папиросы во рту, но работа не бросается. Наоборот, табак усилил возбужденность, и с папироской работа идет еще быстрѣе, еще дружнѣе. Тут уже нѣт никакой осѣчки в рубкѣ, нѣт шального штриха в пилкѣ, палец прощупывает микроскопическую неровность. Изступленность труда поднимается, люди в дыму потерялись и руки их кажутся маленькими рычагами гиганта-станка.

Поодаль от слесарей работают клепальщики установочных рам. И что дѣлают они! Ручная клепка знает секрет своего собственнаго рабочаго такта. Раскаленную заклепку надо вставить в дырку быстро, в один миг и сію же секунду ее плющить в три удара один за другим, один за другим. Удары, сначала вязкіе и глухіе, становятся все суше, тверже. Старшій чутьем угадывает звук и одним пожирающим взглядом, быстрым, как искра, останавливает молотобойцев, накладывает обжимку и, держа ее лѣвой рукой, чуть стукнет маленьким молотком правой, и опять полилась быстрая лавина ударов, формирующих головку заклепки. Бьют сильно и грузно, рѣдко, но равномѣрно, и здѣсь опять

пронизывающій взгляд, и руки онѣмѣли: заклепка готова. А то старшій не глядит на них, он только смотрит на заклепку. Своим молотком он дѣлает трѣль их ударам. Трель быстра, как трещетка. Сыплются удары вперебой, дразня и торопя друг друга. Старшій вдруг проглатывает, недоносит свой удар, и молотобойцы уже было занесли молота, но на полударѣ остановили их, прямо над головой старшого, который уже нагнулся к заклепкѣ. Сорвись рука, опустись молот, и голова старшого будет расплющена в миг. Он пропал. Но на то они и козловцы: они „не промахнут". Их слава по всей Россіи.

Всѣх групп клепальщиков больше десяти. Только что замирали вязкіе звуки одной группы, они переносились в другую, а в первой уже опять перебой твердых, почти холостых ударов, и так грохот за грохотом, шквал за шквалом бѣгут удары и наполняют мастерскія непрерывным та-ра-ра работы.

Случается минута общаго перерыва: у всѣх заклепки в горнах, но клепальщики не отдаются отдыху; даже по внѣшне-спокойным лицам можно узнать рвущуюся готовность работы. Гул бушующаго завода врывается тогда, как зимній буран, и поет все про то же, про работу, про движеніе, про удар,—и клепальщики, положив в одно время красныя заклепки, еще порывистѣе бросаются к молотам, их взгляды кажутся озорными и кровожадными, и, как горный обвал, сразу загремѣл желѣзный град ударов, еще азартнѣе, еще быстрѣе. Они до того приспособились, что у всей группы почти секунда в секунду кончились мягкіе удары, работа стихла на нѣсколько мгновеній, потом перебор звонких ударов старших по желѣзу, и опять новый раскат грома жестких ударов помчался под сводами, зарокотал по рамам.

Как будто по каленым, задѣланным в камень рельсам мчится тысяча поѣздов. Им кажется, что надо мчаться еще быстрѣе, друг друга перегонять, а они

только друг друга задорят и всѣ вмѣстѣ стальным наступленіем несутся дальше, дальше... Но, осторожно, машинист! Поѣзда привыкли к своим товарищам, они идут под музыку своего эха, они полные жажды, все время пьют этот водопад грохота, который они сами дѣлают своими колесами и шатунами. Осторожно, машинист! Остановится один поѣзд, сойдет с рельс и вся тысяча грохнет и будет хоронить друг друга в бездонной рытвинѣ поперек дороги. Но машинист сам во власти этой каменной и стальной чеканки, во власти размѣренных ударов, и ему некогда слушать свою собственную душу, она теперь не нужна, она вытравлена, убита. Это видно по глазам его: они вышли из орбит и впились в горизонт, в котором играют отзвуки его стального бѣга.

— Щщ-щщ-щщ!

— Что такое?

— Щщщ...

Трансмиссіи задыхаются, станки сдают тон. Неуклюже задрожали балки.

Выключают!

Завод сейчас станет. Клокотавшія сердца машин замирают. Падает пульс у работников.

Мальчик, стоявшій при переносном горнѣ, застыл только на секунду, только на секунду отдался безпокойству, но тут же он и выронил из клещей раскаленную заклепку. Испугался и хотѣл скорѣй поправить дѣло, схватил ее руками, но сейчас же и отдернул их, ожег, закричал по-дѣтски: ай-ай-ай! Молотобоец, которому он мѣшал, пнул его ногой, мальчик перевернулся, убѣжал к верстакам и, молча, заплакал.

Молотобойцам другой группы захотѣлось поскорѣе разузнать, в чем дѣло, и они замедлили удары, но взгляд старшого их ѣст, он не любит работать „шаляваля". Молотобойцы тогда необычно зачастили, чтобы поскорѣе кончить, но тут же один из них вмѣсто обжимки ударил по клещам, и работа порвалась.

— Шкэтье!—заревѣл на них старшій.

Полетѣла ядовитая скверная ругань.

В третьей группѣ еще скандал.

Матерная ругань несется по притихшему заводу.

Засучиваются рукава.

— Што фы, свинни!—подходит к клепальщикам слесарь-иностранец.

— Ах ты, чухна проклятая. Свинью произнести не может, а туда же...

— Сфинни фы.

— Я те дам ффы!

— Я те фыкну! и, наступая на него среди других неостывших скандалов, он заносил удар по головѣ. Иностранцы бросились выручать товарища. Раздался хряст. Началась свалка.

И когда прибѣжал запыхавшійся мастер и бросился в гущу свалки, чтобы разнять, козловцы всю свирѣпость вдруг перенесли на него.

— Али нас не надо спрашивать? а?

— Что? Я для вас... Что вы, господа?

— Господа-то там в конторѣ.

Мастер съежился в жалкій комок, до того маленькій, что, кажется, некуда и ударить.

— Но в чем же дѣло? а?—пятился он от клепальщиков.

— А так что, понимаешь, умная голова, что азарту нѣт без евтова.

— Без чего?

— Зуду в рукѣ нѣт, кричит другой дядя из Козлова. Пущай опять моторы заведут.

— Я человѣк маленькій...

— Маленькіе-то знаешь гдѣ? уже прорвались и тѣснили пятившагося мастера они сомкнутой толпой.

— Пронзительно зазвонил телефон. Мастер кинулся к нему.

Голос инженера Григорьева спрашивал:

— Вы исполнили приказаніе?

— Н-да... Так точно.., мялся мастер.

Клепальщики пронзили его глазами и ждали слов, рѣшительных, их слов.

А мастер замер и перед этим деспотом Григорьевым, которому он не мог еще никогда в жизни возразить, и перед этими пожирающими взглядами козловцев. Было только мновенье, секунда.—Он рѣшил. Но Григорьев, видимо спокойный, выключил провода телефона.

Мастер захлопнул стеклянную телефонную дверку и заперся в будочкѣ.

Козловцы озвѣрѣли. Сначала кто-то из них кинул обжимкой в стекло и раздробил дверь, это их окончательно опьянило, они всей ватагой набросились на будку, искрошили ее в щепки, исковеркали телефон, избили мастера, бросились на защищавших его иностранцев, тѣ взяли козловцев в бокс; тогда полетѣли кувалды, горящіе угли, горны, желѣзныя рамы, затрещали окна. Казалось, сейчас сорвутся трансмиссіи и кронштейны, начнется неистовый желѣзный погром, и завод рухнет.

— Чиркнули штепселя, и мгновенно погасли лампы. В темном заводѣ слышен еще лязг и гром, потом он перешел в глухую возню: Кто-то дружески и тепло окрикивал: „наши, выходи“!.

Козловцы сгрудились у выхода; окровавленные они уже на дворѣ кричали в диком азартѣ:

— Ведро что-ли, ребята, на артель-то?

— Вали два!

— Бочку... берем!—покрыл бородач-старшой, и клепальщики, затихшіе и замиренные между собой, пошли в дальній трактир.

Экспресс.

Сибирь спит, одѣтая бѣлой парчей снѣгов. Тихо качаются бѣлыя зыби полей, замерла скованная тундра, стонет ровным стоном тайга.

Но в ночь под новый год тихіе сны Сибири обрываются и мятежныя свѣтлыя грезы бурно несутся от океана к океану, от Урала до моря Беринга.

Тревожно и жестоко колотят сибирскіе морозы. На необъятных равнинах, на поднебесных вершинах гор гремят и гудят гигантскіе молоты.

Строят, строят!

На полярном небѣ из ледяных гор встает огненный занавѣс сѣвернаго сіянія.

Занавѣс трепещет. Низко по горизонту ходят свѣтлые тяжелые столбы. Силы подземных замыслов несут их кверху. Растут исполины-колонны, идут друг на друга, тѣснят небо, жгут и свѣтят на всю Сибирь лавой огненной энергіи.

Миг...

Колонны дрогнули, поблѣднѣли и из-за них вырвался необъятный прожектор, весь готовый разлиться и затопить лучами и небо и землю.

Он ринулся! ударил своими пламенными брызгами вверх, в холодных высотах зажег миражи облаков.

Минута,—мираж зеленый, он смѣлая дума о будущем, минута,—он красный, пылающій, он горящая, верхняя мечта, минута,—он фіолетовый, стальная, закаленная воля к побѣдѣ, работѣ, усилію.

Занавѣс бьется, пылает, волнуется.
За занавѣсом клокочет будущее.
Мгновеніе...
Занавѣс взвился и растаял в небѣ.

Экспресс „Панорама“ сорвался с Уральских высот и рѣет к Кургану.

Курган, окруженный кольцом рельс, разросся в город масла, хлѣба, мяса. Его давно уже зовут „кухней міра“. Курган—город крѣпкаго и вольнаго сибирскаго народа, не знавшаго крѣпостной неволи. Сибирскій народ создал великій город своими кооперативами, которых тысячи, усиліями, которых милліон. В центрѣ, на берегу рѣки,—гордость Кургана—Народный Дом. Он занимает четыре квартала. Зданіе выросло в десять этажей. Окна дома идут цѣльным непрерывным стеклом от крыши до самой земли, и дом кажется одновременно и тяжелым и легким, как все великое. Надземную часть занимает кооперативный университет и кооперативные центры. Внизу под землю идут тоже десять этажей, гдѣ устроен цѣлый город масляных погребов. На дворѣ знаменитая курганская маслодѣльня, работающая бездымными газовыми двигателями. Сепараторное отдѣленіе одѣто стеклянным футляром вышиною в двадцать сажен... По одному фасаду Народаго Дома проходит линія сибирской магистрали. Из вагона видна как на ладони вся чистота масляной работы. С воздушных экспрессов и платформ непрерывно дѣлают снимки для реклам в „Народной Газетѣ“. Газета—высшее созданіе сибирскаго генія. В ней нѣт ни одной бумажной клѣтки, которая не вышла бы из бумажнаго кооператива, в ней нѣт ни одной строчки, написанной и набранной не кооператором. На углу „Народнаго Дома“ высится редакціонный маяк, на котором днем и ночью горит слово „Единеніе“. Маяк виден на добрую сотню верст и из

Европы часто поднимаются на уральскіе хребты, чтобы любоваться курганским великаном.

От Кургана экспресс мчится по залитым солнцем пашням, гдѣ все лѣто бороздят и равняют поля стальныя чудовища—машины. Необитаемая прежде степь и тундра стала житницей всего свѣта. Всюду видна рука людей настоящаго поколѣнія. Ничто не говорит о минувших столѣтіях, о их раздольных, но лѣнивых пѣснях, о их сладостных, но пассивных молитвах. Вольные сибирскіе переселенцы создали новый тип селеній, идущих прямыми линіями в два ряда домов на сотни верст, и из степей создали тысячеверстный хутор, прорѣзающій быстрыми, смѣлыми линіями Сибирь с юга на сѣвер и с запада на восток.

Экспресс быстро тормозит, но пассажирам кажется, что он врѣзался в ватныя стѣны. Мелькает новый город с тысячью заводских труб, выпускающих вмѣсто дыма только несгораемые газы.

Это—Сталь-город, который когда-то звали Ново-Николаевском. Поѣзд прыгает, ему надо миновать сотни три стрѣлочных переводов. Стальныя пути идут вправо и влѣво, к югу и к сѣверу и всѣ направляются к Оби. Обь блещет и бьет своим полным валом, но берега ея стиснуты гранитом, набережныя скованы сѣтью подъѣздных путей. По обѣим сторонам идут сотни подъемных кранов. Они вытянули свои стальные плетеные кронштейны и даже тогда, когда замирают послѣ тяжелых рѣчных нагрузок, кажутся руками гигантов, наступающих друг на друга с одного берега на другой. Сверху виден лѣс мачт океанских судов, которыя давно уже ходят по углубленному фарватеру Оби. Это легкіе пароходы компаніи „Барнаул—Канал", идущіе от главных угольных центров Алтая к нефтяным районам Карских островов и Печоры, через полярый канал и

*

желѣзнодорожныя линіи от Обдорска. А вот грузные теплоходы компаніи „Сталь-Город—Нарвик", разсѣкающіе грозныя бури Карскаго моря и полярые льды океана.

Экспресс влетает на желѣзнодорожный мост через Обь. Этот мост со своими крѣпкими дамбами, широкими и длинными пролетами и тяжелыми башнями— гордость сибирских строителей.

Не проходит минуты, чтобы по мосту не мелькнул поѣзд.

„Сталь-город"—главный форт сибирской индустріи. Вечерѣет, и он встрѣчает экспресс милліоном огней, то красных, что рвутся из окон тяжелой металлургіи, то снѣжно-бѣлых, как день, ровно идущих от механических заводов. В воздухѣ над городом цѣлый гомон свѣта и звука, это—новаячеловѣческая симфонія огня и желѣза.

Заводы идут правильными рядами корпусов, кочегарки вытянулись прямыми линіями, это—тысяча горящих бронированных сердец „Стали-города", черные гиганты-трубы угрожают самому небу. Частныя зданія идут квадратными кварталами; их плоскія крыши соединены в одну площадь и образуют роскошный зеленый сад.

И всѣ эти заводы, дома, башни, цистерны, мосты, элеваторы, рыбные погреба—анонимны, у них нѣт названій, они принадлежат компаніям и синдикатам, у которых нѣт фамилій,—голый капитал без лиц, без фигур.

„Сталь-город" зовут машиной Сибири. Оттуда идут водные и желѣзные пути на восток, запад, сѣвер и юг. День и ночь идут грузы с орудіями земледѣлія на сѣвер, гдѣ земельная обработка уже подходит к семидесятому градусу, на запад и восток идут двигатели для маслодѣльных заводов, мельниц, консервных фабрик, а на юг к Алтаю—готовыя части домн, краны, буривльныя машины, трансформаторы.

„От Стали-города“ до Алтая идет непрерывная промышленная стройка; она начинается заводскими трубами, идет через жилища рабочих, переходит в заводы-домны и кончается черными подземными городами-шахтами.

Но дальше, дальше по главной магистрали! Быстро минуем города без будущаго. Они хотѣли быть острогами, но сами умерли, как необитаемыя тюрьмы...

Красноярск!

Это мозг Сибири.

Только что закончен постройкой центральный сибирскій музей, ставшій цѣлым ученым городом. Университет стоит рядом с музеем, кажется маленькой будочкой, но он уже извѣстен всему міру своими открытіями. Это здѣсь создалась новая геологическая теорія, устанавливающая точный возраст образованія земного шара; это здѣсь нашли способ разсматривать движенія лавы в центрѣ земли; это здѣсь создали знаменитую лабораторію опытов с радіем и открыли интернаціональную клинику на 20.000 человѣк. Но истинная научная гордость Красноярска — обсерваторія и сейсмограф. Здѣсь записываются не только землетрясенія, но всѣ движенія подземных, огненно-жидких и паровых образованій, публикуются их точныя фотографіи и діаграммы; и в теченіе послѣдних 10 лѣт не было ни одного землетрясенія в мірѣ, которое не было бы точно установлено во времени и пространствѣ и предсказано Красноярском.

А вот прямо перед экспрессом точно растет и летит прямо в небо блестяще-бѣлый шпиль. Это дом международных научных конгрессов. Его фасад усѣян флагами государств всего міра, теперь там засѣдает конгресс по улучшенію человѣческаго типа путем демонстративнаго полового подбора. Если нужно выразить научно-смѣлую идею, то всегда и всюду—

в Европѣ и в Америкѣ—говорят: „это что-то... красноярское“.

Там на Енисеѣ, высится мачта, на которой гордая надпись: „Красноярск—Морской порт“, но за ней на башнѣ дамбы другая надпись: „Красноярск—верфь міра!“ На сѣвер от моста больше чѣм на десять верст суда, все суда. А по берегам точно скелеты допотопных ихтіозавров высятся эллинги судостроительных заводов.

Экспресс, однако, мчится.

Иркутск!

Город транспортных сооруженій, оптовой торговли, финансов, синдикатов, трестов биржи.

Отсюда идут четыре магистрали: одна врѣзается в сердце Китая прямо на Пекин, она давно уже вооружила трудолюбивых землевладѣльцев рѣзцом и зубилом, другая идет к Владивостоку, интернаціональному порту, вся жизнь котораго рвется через океан к Колорадо и Нью-Іорку; третья на Амур—к его дивным виноградникам и садам; четвертая—к сѣверу на Якутск—к разбуженной полярной странѣ.

Еще издали верст за 20 с экспресса виден „верхній этаж“ города, как называют воздушныя платформы королей капитала...

Платформы укрѣплены на баллонах и поддерживаются непрерывной работой моторов. За десятки верст по ночам эти платформы посылают цѣлые бассейны свѣта к Байкалу и на желѣзнодорожные пути и в тайгу. Этим же свѣтом, идущим параллельными лучами, затоплен весь город, который уже не нуждается ни в каком освѣщеніи—ни в уличном, ни в комнатном.

На воздушных платформах устроены станціи радіотелеграфа и телефона; отсюда говорят и с материками и с океанами, отсюда по незримым волнам капитал правит уже не только Сибирью, но через Владивосток

цѣлит в Америку, и, кажется, над океаном временами ходят тучи, назрѣвают небывалыя грозы и прольются лавы не то стального, не то золотого дождя.

На платформах же находятся конторы и залы синдикатов с их краткими названіями: „Золото“, „Радій“, „Виноград“, „Хлѣб“, „Полюс“, „Огонь“, „Кислород“.

Сверху с платформ правят землей. И на что уже сильна была в Иркутскѣ международная биржа и банки, но они сдались „платформам“, и кнопки биржевой игры теперь нажимаются вверху.

Фоно-газета „Платформа“ выходит непрерывно круглыя сутки и освѣдомляет о всем весь мір. Она постепенно стянула всѣ лучшія литературныя и артистическія силы и давно уже таксировала гонорары всѣх знаменитостей. Демократическая богема желчно острила: „Парнас переселился на „Платформу“.

Мы в'ѣхали на экспрессѣ в безбрежный океан свѣта и движенья, мы в ураганѣ жизни воздушаго города и вдруг... тишина.

Только здѣсь в Иркутскѣ узнаешь, какая потрясающая сила в тишинѣ.

Это мы в'ѣхали в подземный центральный вокзал. Ѣдем под городом. Бархатные тормаза, безшумый выход газа из локомотивов, скраденый шелест грузовых кранов, схороненные в землѣ моторы, папковыя и бумажныя крыши и стѣны, отсутствіе служебнаго персонала. Все дѣлается автоматически, просто.

Множество кнопок, безчисленные краны, к услугам публики всюду надписи и свѣтовые указатели. Но чаще— довольно только ступить ногой, чтобы безшумно тронулся лифт и осторожно поднялась платформа или тротуар вокзала. И невольно пассажиры, загипнотизированные этой мощью молчащей постройки и беззвучнаго движенья, говорят друг с другом не громко, шопотом. Нервные люди надземнаго города прозвали иркутскій вокзал фоно-ванной...

Экспресс летит дальше. Его не остановили ни для высадки пассажиров—вагон с ними на ходу отдѣлился,— ни для почты—ее поймали и кинули—да ея так мало— все дается аэро-машинами и радіотелеграфом.

Экспресс вынырнул из земли. Ему навстрѣчу несется гул газетных рупоров и стереоскоп реклам. Но всѣ они покрыты водопадом бѣлаго свѣта, на котором фоно-газета в воздухѣ черными буквами написала: „Три конгресса".

Дѣловыя засѣданія этих конгрессов таят невиданную соціальную схватку.

Конгресс сибирских трестов на одной из воздушных платформ рѣшает прибрать к своим рукам интернаціональный трест „Сталь", синдикат „Руда", об'единившій добычу Алтая, Саян и Яблоновых, давно уже подбирался к „Стали". Но силы мало. Теперь он хочет поставить „Сталь" хотя бы под контроль союза синдикатов. Голосованія конгресса вызывают биржевую панику во всем мірѣ; еще минута,—и радіотелеграф извѣстит о сотнѣ крахов и тысячѣ самоубійств биржевых дѣльцов: „Платформа" проглатывает „Сталь".

Конгресс сибирских кооперативов, созванный Сибирским Народным Банком, над зданіем засѣданій выкинул тревожный аншлаг: „Платформа душит кооперацію". Конгресс принимает героическое рѣшеніе—закрыть свой рынок для синдикатских издѣлій и кредита. Устанавливается кооперативный лэбель.

Кооперативный запад Сибири поднялся против синдикатскаго востока. Кто побѣдит: будет ли приручена кооперація и будет снизу ждать лозунгов от воздушных платформ или платформы рухнут, не устоят против западной мобилизаціи. На „Платформах" не дремлют: там по телефону слушают пренія конгресса, там радость: на конгрессѣ намѣчается раскол, алтайцы обвиняют курганцев в симпатіях к синдикатам. „Курган сам завтра будет синдикатом"! крикнул один из алтайцев. Но кооперативный конгресс дѣлает гиганскую ставку: он

устанавливает милліонный штраф за нарушеніе лэбеля, штраф гарантируется районными союзами.—Платформы демонстративно переносят центральную организацію в Курган...

Третій конгресс—рабочій международный с'ѣзд; это—первыя засѣданія интернаціонала, когда пренія ведутся на международном языкѣ, который составился из комбинацій русскаго с американо-англійским. Весь послѣдній год во всѣх странах шли с'ѣзды и референдумы. И теперь интернаціонал спокойно принимает рѣшеніе за міровой рабочій класс: он рѣшил биться за немедленное образованіе международнаго совѣта, который должен об'явить себя собственником угля, хлѣба, кислорода и огня.

„Интернаціонализація".

Слово произнесено...

Мір живет наканунѣ новых потрясеній, смѣлых жестов, дерзких вызовов.

Но неугомонный экспресс мчится.

Экспресс летит.

К Якутску.

Здѣсь от Иркутска к сѣверу по всему материку идет однорельсовая дорога; мѣстами рельс идет внизу поѣзда,—мѣстами вверху. Этому пути не страшны снѣжные заносы.

На Витимѣ стоит золотая столица Бодайбо.

По одну сторону ходят черные рабочіе поѣзда и великаны-машины, бьющія почву и моющія золото; здѣсь пыль, грязь, сырость и стон... По другую сторону горят шпили домов золотой резиденціи. На работу в Бодайбинскій район согнаны китайцы, африканцы, индійцы, якуты, индусы, сюда же доставлены партіи закованных каторжан. Кто хочет знать, чѣм отличается рай от ада, пусть идет в Бодайбо и посмотрит сначала на один

берег, потом на другой. Одно время в „раю“ пронеслась тревога: заговорили о нападеніи на синдикат „Золото“ со стороны „Руды“, но государства не рѣшились отступить от принудительнаго денежнаго курса, и „рай“ опять зацвѣл и опять появились золотыя яблоки!...

— Экспресс мчится сквозь горные хребты, катит с вершины на вершину. Куда, куда ты летишь? Что это? семафоры или звѣзды?...

Экспресс в Якутскѣ.

Не город, а сказка.

Его теперь часто зовут „карточным домиком“. Кто был в Якутскѣ в началѣ двадцатаго вѣка,—не узнает его. Нѣт проток, нѣт болот, улетучились озера; все высушено, вымыто, прибрано. Город распланирован правильными домами, домами-кварталами, сдѣланными цѣликом из бумаги.—Город реклама. Якутск стал бумажным центром. Необ‘ятная тайга вся скуплена „Бумагой“ и теперь на бумажных фабриках в Якутскѣ дѣлают из бумаги газетные листы, мебель, вагоны, суда, дома и дороги. С тѣх пор, как Америка и Азія перешли к бумажной стройкѣ, всѣ металлы задрожали за свою будущность. И может быть этим об‘ясняется, как легко иркутская „Платформа“ расправилась со „Сталью“.

От Якутска дорога к морю.

Охотск.

Здѣсь два чуда: искусственное озеро и аквавріум, гдѣ хранится и культивируется рыба Тихаго океана. Лѣтом здѣсь функціонируют рыбные погреба с температурой двадцати градусов ниже нуля.

Дальше же, однако, дальше.

Город буржуазной нѣги—Гижигинск.

Зимой в Гижигинскѣ собирается знать с „Платформ“ и занимается полярной охотой и спортом. Теперь у спортсменов нѣт высшаго удовольствія, как гоняться на

оленях, собаках, моторных санях по сѣверной тундрѣ и занесенному снѣгом океану. Лѣтом в Гижигинскѣ собирается цвѣт буржуазнаго общества для лѣченія в горячих источниках. И как то не по вкусу пришлось королям золота, когда союз сибирских печатников построил в Гижигинскѣ дом для своих членов—больных туберкулезом.

Еще нѣсколько взмахов экспресса, и мы в новом городѣ „Энергія", основанном на пустом мѣстѣ. Здѣсь скрещиваются двадцать желѣзнодорожных путей, идущих из Камчатки. Всѣ ея сопки давно одѣты стальными асбестовыми кожухами, жар земли собирается, немедленно трансформируется и переводится в энергію. Камчатка, в которой нѣт ни одной квадратной версты без рельсовых путей, когда-то называлась кочегаркой міра: тогда здѣсь добывалось только тепло. Теперь „энергія" переводит теплоту во всѣ виды механической энергіи.

Кто хочет видѣть новые великаны строительнаго дѣла, кто хочет знать величіе и мощь огня, пусть ѣдет на Камчатку. Но туда должен поѣхать всякій, кто заинтересуется новой битвой „Огня" с „Углем". Это к „Огню" то подбирался конгресс интернаціонала в Иркутскѣ. И носятся слухи, что заправилы „Угля" экстренно установили высокія пенсіи горнорабочим и шахтерам...

Между тѣм назрѣвают новыя битвы: по всему берегу Великаго океана, по всей линіи сопок, в Америкѣ, Китаѣ, на Зондских островах началась постройка тепловых гигантов и всѣ они бросили вызов Камчаткѣ.

А экспресс уже умчался от этой океанской драмы, взял курс на самый сѣвер и грезит новыми сказками.

Экспресс весь земной, весь человѣческій. Он бурлит, он просит неслыханнаго стального топота, взмаха подземных кипящих морей, дыханія лавы.

Ох, он хочет прорѣзать всю землю, облить ее своим жарким дыханьем, отдать ей всю огненную страсть свою; он хочет вселить в нее бѣса холода и бѣса жара и заставить их вѣчно биться, он хочет утопить человѣка в металлѣ, расплавить маленькія души и сотворить одну большую; он хочет заразить камни человѣческим говором, заставить мерзлую землю пѣть гимны огню.

И потом все смѣшать, включить исполинскіе токи, дать волю, неслыханную по безумству и отвагѣ, и самому умчаться дальше.

Дальше! На самыя рискованныя зыби, на край, на дальній, дальній край!

Город Беринга.

Он знает только два лозунга: „К полюсу“ и „В Америку“. На его днѣ воздвигаются новые города. Открытые залежи угля на днѣ океана теперь пока брошены и забыты: вѣдь „Уголь“ дрожит теперь за свою участь. Но зато воздвигнуты настоящіе хрустальные дворцы из морского янтаря. Система ползущих кессонов давно уже позволила подобраться к сѣверному полюсу снизу водным путем. А завод, работающій для полюса в Берингѣ, мечтает о том, чтобы согнать снѣга с полюса, измѣнить направленіе теплых теченій в океанах и смягчить весь полярный климат. Теперь в Сибири много говорят о грядущей революціи земледѣлія и садоводства, и на сторонѣ Беринга стоят сельско-хозяйственные кооперативы и „Энергія“ Камчатки... Кооперативы говорят, что рабочій интернаціонал не во время стал шутить с „Огнем“, величайшія мечты Беринга могут застыть... Завязывается новая соціальная схватка.

Экспресс же хоронит, хоронит скорѣе полярныя бури. Ему тѣсно. Он несется к закругленію высокой насыпи, как развернутое верхнее знамя, рокочет по рель-

сам, с бушующей стальной пѣсней влетает на мост, с моста в морской тоннель—от Беринга в Аляску.

Постройка тоннеля стоила двух тысяч жизней: полтысячи погибло от полярных холодов и полторы пожрал океан в подводных работах. Побѣда индустріи заставила весь рабочій класс одѣться в траур. Но теперь уже нѣт границ между старым и новым свѣтом. Тоннель стал символом рабочаго единенія.

Перед тоннелем у Беринга маяк. Экспресс мчится прямо на него.

Гигант, превосходящій всѣ высоты земли и сдѣланный из бетона, металла, бумаги и льда, предохраненнаго от испаренія.

Маяк направил свои прожекторы на экспресс. Экспресс вольно купается в красных, синих и бѣлых лучах полярнаго смѣльчака.

Невольная дрожь охватывает пассажиров. Что будет? Кажется, что маяк все идет, все наступает к полюсу растущим памятником человѣку, его движенію, его волѣ.

Мгновеніе,—и экспресс в тоннелѣ. Тихій ровный свѣт, тихіе тона красок... Но бурно и гулко дышат моторы, накачивающіе воздух, и тоннель дрожит, как стальной пульс, в спящих океанских водах.

Полчаса—и Америка...

Жизнь мелькает. Люди входят и выходят, умирают и родятся, расцвѣтает, отцвѣтает весна, гибнут и снова воскресают надежды.

Свѣтлый экспресс летит. Его дорога безконечна, но и безстрашіе его безгранично. Порой оно рушится с мостов в воду на всем ходу. Стоны, крики, смерти... Но снова из глубины бѣшено вырывается неугомонный поѣзд, дышит пламенем, поет сталью, колотит

и рѣжет камни, врывается прямо в утесы, сверлит их грудью.

Он весь изранен. Он полон горя, но, желѣзно-суровый, он скрыл, схоронил в своем пламенном сердцѣ всю боль этой небывалой дороги... и поет, мятежный, он поет совсѣм не о былом, совсѣм не о тяжелых надрывных часах, а о грядущих, радостных под'емах и полных отваги и риска уклонах.

Моя жизнь.

Велика в прошлом, безконечна в будущем жизнь моя.

Много столѣтій я не запомнил. Помню лишь, когда ходил закованный и был привязан к тюрьмѣ моей—работѣ.

Это я двѣсти лѣт тому назад бил и разбивал машины. Это я, еще весь человѣческій, возстал против холодных недругов своих. Я отдал тогда всю страсть свою этому желѣзному единоборству; я тогда призывал богов на помощь себѣ, и все же в борьбѣ потерял ни одну голову. Я отчаивался тогда и бросался на отточенные рѣзцы машин, крошил их, но и сам бился в тисках металла.

Это я сто лѣт назад залил улицы міровых городов своей кровью и развертывал знамена со словами возстанія и мести.

Это я же бился потом и терзал свое собственное тѣло по ту и по эту сторону границ.

И теперь опять я, и уже как-будто вновь рожденный, иду и строю. Все проходит через мои руки и орудія. Создаю віадуки, дороги, машины, микроскопы. Через пульс моего станка и штрих моей пилы я ощущаю самыя сокровенныя мысли.

Я—носитель безпощаднаго рѣзца познанія.

Всюду иду со своим молотом, зубилом, сверлом. По всему міру... Шагаю через границы, материки, океаны. Весь земной шар я дѣлаю родиной.

Стою перед рабочим домом в Берлинѣ. Стою и восторгаюсь: вот мой громадный, мой тяжелый, неуклюже-

сильный дом. И все в нем мое: и входная арка с высѣченным молотом, который рвется из камня и просит пѣсни, и наковальня на столѣ секретаря и шеренги товарищей, идущих взад и вперед.

Вхожу в кооператив в Манчестерѣ и дрожу от радости: мое! Рожденное вдали, но по созвучію с моим, близким.

Я под сводами парижской Биржи Труда, прокопченной и черной. Сначала чужая, выстроенная на чужія, нерабочія деньги, она стала наша и ея прокопченныя стѣны сдѣлались символом надорванной усталой силы.

Несчастіе... Яма, могила... На югѣ Африкѣ взрыв. Тысяча жертв. Это—удар, это... мнѣ удар... в самое сердце.

Бездымныя шахты, покрытыя пеплом... Это—на краю свѣта памятник моему раненому, моему міровому сердцу.

Умерло мое вчера, несется мое сегодня и уже бьются огни моего завтра.

Не жаль дѣтства, нѣт тоски о юности, а только—вдаль!

Я живу не годы.

Я живу сотни, тысячи лѣт.

Я живу с сотворенія міра.

И я буду жить еще милліоны лѣт.

И бѣгу моему не будет предѣла.



Мы всюду.

Нас небольшая толпа...

Но мы всюду.

Мы избороздили тысячи верст по болотам, лѣсам и говорили с живущими в юртах. Мы им разсказывали много чудес о пароходах и дамбах.

Ох, как они были довольны.

На прощанье мы им сдѣлали идолов.

Таких, каких они просили.

Но в глаза мы всадили рубины, а головы идолам подняли.

Идолы смотрят через тайгу вдаль.

Туземцы обезумѣли.

По тайгѣ и болоту зашумѣли новыя пѣсни.

„Надо выше поднять наших идолов. Идемте искать гор для наших богов"—запѣли живущіе в юртах.

Вот смотрите: они идут с запада к востоку к большим горам. Они вѣрят, что найдут эти горы. Они взойдут на вершины и водрузят там богов своих.

Мы скоро убѣжали от них и не сказали им, что с восточных гор будет виден океан и новый свѣт...

Мы бѣжали, и в долинах нагнали полки солдат, идущих на битву. Мы, сорванцы, без шапок, в однѣх блузах, бросили их барабаны в воздух, оборвали команду, остановили армію. „Товарищи, стоп!".

Армія замерла. Но не вышла из строя. Самый младшій из нас схватил рубильник, который всегда носил с собой, и начал включать.

Армія снова пошла.

Милліон людей, без барабана, без музыки шел в ногу.

Наш мальчишка крикнул им:—„Вѣрите-ли вы, что пройдете с своим милліоном сквозь хребет, что растет перед вами?“.

Мы не вѣрим, мы... знаем теперь—загремѣли старики-солдаты.

А мальчишка радостно хохочет и кричит им, уходящим в гору:—„Это я сдѣлал из вашей груди желѣзо, а из арміи великана – машину“.

Мы убѣгали от солдат и издали им пѣли:

„А винтовки ваши не при чем“.

Через полчаса мы всей нашей тысячей летѣли в одном поѣздѣ через Европу и прямо правили на океан.

По пути всюду, особенно в селах и полях, нам выкидывали тревожные сигналы:—„Остановитесь! Через океан нѣт мостов, и туннель еще не прорыт“.

Но мы были влюблены в свой поѣзд.

И что же:

— Мы заставили весь мір повѣрить в желѣзный призрак: поѣзд несся по воздушным рельсам.

Нас встрѣтили милліоны товарищей в Новом свѣтѣ.

Мастерскія там тянулись на цѣлыя мили. В них дѣлали все, начиная с мостов и кончая оптикой.

Директора завода собрали всѣх нас на митинг и говорили о новой индустріи.

„Мы гордимся новым свѣтом. Мы создали новую машинную пластику, недоступную древним. Мы создали работников, любящих рѣзец и микрометр“.

Директора знали, что мы по своему привязаны к машинѣ.

„Мы тоже приверженцы этого міра!“—крикнули мы к эстрадѣ.

— Да? — Попробуйте это доказать.

Мы не заставили себя ждать: наши молодые сорванцы в тот же вечер кинули из Чикаго депеши всему

старому и новому свѣту, и на другой день во всем мірѣ в одну и ту же минуту прогудѣли сирены.

Это была первая міровая музыка.

А теперь смотрите: есть ли уголок земного шара, гдѣ дремлют и не говорят о чудесах переворота?

старому и новому свѣту, и на другой день во всем мірѣ в одну и ту же минуту прогудѣли сирены.

Это была первая міровая музыка.

А теперь смотрите: есть ли уголок земного шара, гдѣ дремлют и не говорят о чудесах переворота?

*

Наш праздник.

Мы хотѣли, чтоб наш выход из земли был чудом.

В подземные ходы мы заложили горы мелинита.

О, мы увѣрены, что взрыв был слышен на Марсѣ.

Земной шар застонал и бился в агоніи. Весь мір на мгновеніе замер. Но через лаву, пепел и дым вырвались своим быстрым милліоном из подземелья.

Были бѣшены, рвали и метали. Залили цѣлыя мили нашей толпой.

В рабочих куртках, в синих костюмах, в нашем защитном индустріальном цвѣтѣ.

Мы смѣемся, мы молодо хохочем. Покрыли землю тысячью прожекторов. Пусть знают во всей вселенной: на нашей планетѣ ѣдут по міру посланники чудес и катастроф.

— Пѣсни!

— Музыки!

— Оратора! загремѣли было толпы.

— Ни пѣсен, ни музыки!—заревѣли желѣзные мосты и постройки.

Наши созданія—башни, рельсы, віадуки подняли гул:

— Мы просим слов, слов новых, вѣковѣчных... желѣзных.

— На эстраду, на эстраду! закричали мы.

Минута, и по воздушным рельсам, за небеса, выше гор, на невѣдомую трибуну міра помчался силач-локомотив.

Он несся пылая...

Впереди он воздвигал молнiи и радуги синяго дрожащаго свѣта.

Радуги строились в небосклоны. Купола новых небес тѣснились друг на друга. В эфирѣ вырастал лучезарный тоннель и все манил, все манил нашего желѣзнаго делегата выше, все выше.

Локомотив рычал, радостно стонал и бил по воздушным рельсам.

И чудо: он не уменьшался, он рос.

Желѣзные лязги все громче.

Каскады желѣзнаго рева заглушали смерчи и бури, схоронили весь гомон ярмарок, заводов, военных сраженiй, заставили забыть землетрясенiя и вулканы.

Вверху гремѣл над нашими толпами агитатор труда.

Он бил по рельсам, как по струнам.

С желѣзнаго монблана неслась в наши рабочiя толпы воздвигнутая нами поэма... восторженный крик машины, торжествующая пѣсня кованаго метала:

— Миллiон!

— Мой отец и ученик мой.

— Мое дитя и родитель.

— Я... угрожаю!

— Твоим именем, стальной душой твоей, твоим смѣлымъ тѣлом, безстрашным чудесным мозгом твоим, твоей пылающей улыбкой и желѣзным замахом твоим...

— Я угрожаю!

— Ко мнѣ, ко мнѣ, миллiон, твое вниманье.

— Я знаю, чего ты ждешь:

— Ты хочешь переворота... катастрофы.

— Я—дѣлатель, я—автор катастроф!

— Она—пришествiе.

— Она—крушенье.

— Провал мiров.

— Явленье новых.

— Но, миллiон мой, ратник инструмента, мой генiй рычага, мой друг.

— Гордый и спокойный.

— Я гремлю на весь мір твоим голосом и всему дрожащему, всему паническому грожу своимъ желѣзным неумолимым разсчетом:

— Катастрофу я разсчитал до секунды и до миллиметра...

Тише.

Считайте секунды.

Огонь доходит до свѣтопредставленія...

Пар грозит безуміем взрыва и грохота...

Смотрите: на небѣ — манометр. Он побѣдно говорит о рѣшительном канунѣ.

Мгновенья...

Послѣднія...

Локомотив мгновенно титанически и мятежно вырос.

Он возстал.

Рельсы загремѣли радостью и ужасом риска...

...Мальчик, мальчик, выключи!

Выключи.

Это пока репетиція...

— Сдѣлано!..... произнес малютка среди полной тишины и картавым дѣтским голосом спокойно сказал:

— Теперь мы готовы к этому чуду в каждое мгновенье.



ОГЛАВЛЕНІЕ

стр.

От Пролеткульта 3

Введеніе:

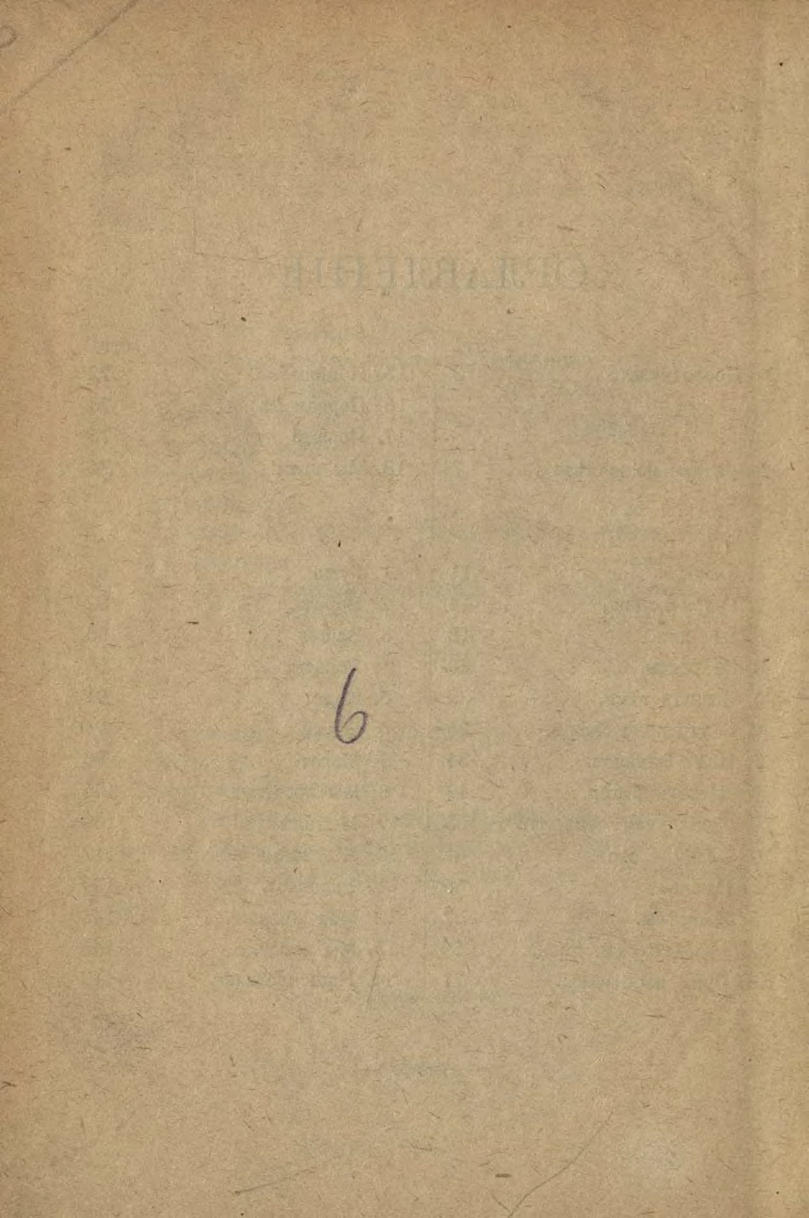
Мы растем из желѣза . . 7

I.

1. Звоны 11
2. Гудок-сирена. 14
3. Эти дни. 18
4. Старость. 20
5. Осеннія тѣни. 22
6. В утренней смѣнѣ. . . 25
7. Иван Вавилов. 34
8. Штрейкбрехер. 49
9. Соціальная стратегія. . 55
10. Сильнѣе слов. 61
11. Мысль. 65
12. Я люблю. 67
13. Арестантская пѣсня. . 69
14. Дума работницы. . . . 71
15. Я полюбил 72
16. Первая пѣсня. . . . 73
17. Первый лучъ. 75
18. Мы идем! 76

II.

1. Гудки. 81
2. Ворота. 82
3. Башня. 85
4. Рельсы. 89
5. Кран. 91
6. Балки. 94
7. Молот. 98
8. Мы посягнули. . . . 106
9. Мы вмѣстѣ. 109
10. Желѣзные пульсы. . 112
11. Экспресс. 129
12. Моя жизнь. 143
13. Мы всюду. 145
14. Наш праздник . . . 148


6